

Литературно-художественный

ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ДЕЛО

№ 4.

АПРЕЛЬ

1951

Сан Франциско

ДЕЛО

**Литературно-художественный
ЕЖЕМЕСЯЧНИК**

Том I, № 4

Апрель 1951 г.

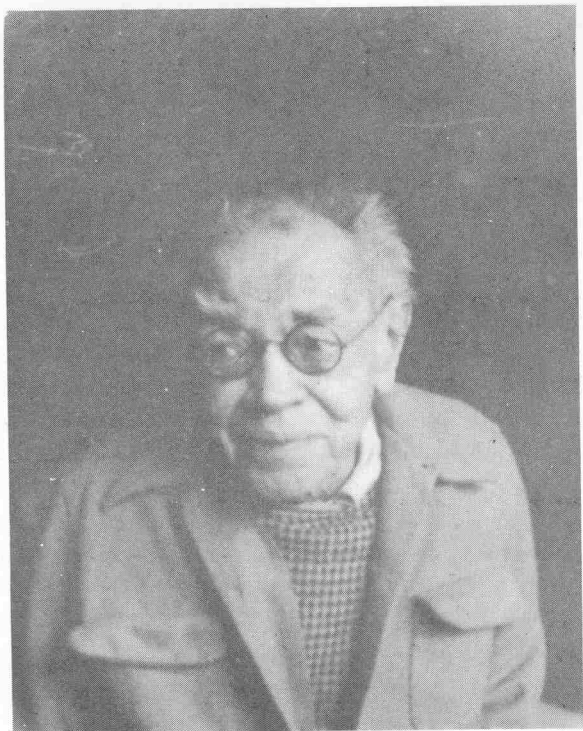
Сан Франциско

Алексею Михайловичу

РЕМИЗОВУ

DELO — MONTHLY LITERARY REVIEW

Publisher-Editor Mstislav N. Ivanitsky



Александр Блок

“... я родился в Москве, в Замоскворечье (Больш. Толмачевский переулок) в Купальскую ночь 24 июня 1877 г. Печатаюсь с 1902 г.”
(Из письма А. Ремизова)

Сказогник

Это было на русское Рождество, в 1940 году, уже во время войны.

У Ремизовых устраивалась ёлка, пригласили и меня. Помню, как сейчас: на мой робкий звонок дверь открыл сам хозяин — маленький, тихий, приветливый, точно персонаж из детской сказки, с горбом, но не горбун от рождения. (От вечного сиденья, нагнувшись над книгой, стал он к старости горбатым; позднее, когда мы уже познакомились поближе, он говорил мне с гордостью: пощупайте, настоящий горб у меня вырос); брови совсем как у чортика: две черных стрелы, летящие к вискам, а нос, как у чайника, вздернутый над мягким, большим и приятным лягушечьим ртом и лучистые, детские глаза, то грустные, то плутоватые. Волосы подстрижены под машинку (первый номер), даже зимой. К парикмахеру бегать нет времени, а чтоб не было холодно --- татарская тюбетейка на макушке. Лицо доброе-доброе, как бы примиренное с жизнью.

Сходство с персонажем из сказки подчеркнуто и одеждой: носил он странного вида ермолки, а зимой еще кутался в невероятные шали. Но это, я думаю, не только из чудачества, а из-за природной зябкости, да чтоб понравиться детишкам; он их очень любил, часто затеивал на улице с ними разговоры, рассказывал им сказки, радуясь с ними (если не больше, чем они) тому миру, что видеть умеют лишь дети и «посвященные».



В небольшой комнате стены покрыты самодельными полками, на которых стоят и лежат разной величины и объема книги: все — старые, испытанные друзья. У окна — черный,

простой, крашенный стол, за которым Ремизов пишет, читает или рисует. А из окна через улицу наискосок виден гараж и две-три серых стены. Возле двери большой диван, из которого все время выскакивает пружина, как раз там, куда сядешь; не дай Бог тоже попасть на низенький стул, такой твердый, все бока изломает.

Помню я Алексея Михайловича на этом стуле, когда разместив гостей на неказистой своей мебели, сидит он бывало за столом над раскрытой книгой и, придвинув ближе настольную лампу, одной рукой перелистывает страницы, а другую держит прижатой к груди (такой обычный для него жест). Сейчас он начнет ворожить, ведь он не читает, а ворожит, — и кого только не завораживал он своим чтением!

В эту зиму войны перечитывал он Сологуба («Записки»), Лескова и Гоголя, а когда станет уж очень грустно на сердце, — главы из жизни протопопа Аввакума, особенно место, где протопоп с протопопицей и детьми бредут пять недель из Сибири на Русь, по голому льду. Выбившись из сил и упав, протопопица спрашивает: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» — «Марковна, до самыя смерти», — отвечает Аввакум.

И кротко-покорно тогда говорит протопопица: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

— Вот какие люди были, — после долгого молчания скажет Алексей Михайлович, — у них надо учиться несокрушимой воле смиренности.



Стучит дождь в окно, барабанит по крышам домов. Незаметно пришла ночь. Алексей Михайлович, как каждый вечер, для затемнения закрывает окно плотной бумагой и прикрепляет ее старательно со всех сторон к раме блестящими кнопками. От одинокой лампы посреди потолка в углах комнаты — полутьма, и только на столе лежит свет от нее опрокинутым блюдцем.

— Пойдем, — говорит мне Ремизов, — на кухню. Там

монашек пришел. В комнату зайти не хочет, чужих стесняется. Он там на табуретке сидит; маленький такой, ноги до полу не достают. Какой-то беспокойный он нынче, все к чему-то прислушивается, под нос себе что-то бормочет. Идем, сами увидите.

— Нет, подождем,—говорю я. —«Вы разве не слышали? Сейчас под ним табуретка скрипнула. На цыпочках, чтобы никто не услышал его в доме, крадется он к окну. Вот он прижался к стеклу и ждет . . .»

— Вы слышите, как за окном бушует ветер, льет дождь и голая ветка бьется в окно? — И Ремизов еще тише, почти шопотом:

— Монашек давно уже, может быть годами, ждал этих шагов за окном, и вот, он увидел . . .

— Кого? — спрашиваю я, уже чувствуя скрытую драму его героев, что происходит за закрытой дверью.

Силой своего воображения А. М. все, что было вокруг него и себя самого, переносил в сказку, куда приходил и монашек, и годами жил на его письменном столе вместе с фейерманом и пузатой чернильницей. Все это жило, дышало, говорило между собой, и если вы этого не замечали, то только потому, что не хотели прислушаться к тайному, но вполне внятному шопоту.

И так ясно, словно на яву, вижу я далекую кухню в Париже и доброго старого сказочника, одиноко сидящего на краю табуретки и что-то бормочущего себе под нос . . . сказки? сны? новые свои еще неизжитые горести?

В ГОСТЯХ У РЕМИЗОВА

Писатель и человек, в большинстве случаев — два совершенно разных мира. Иному, как человеку, неохотно и руку подашь при встрече, а как писателю, с радостью подашь и пальто. Иногда же человек и писатель так хитроумно сплетены, что сразу не разберешь: где начинается один, где кончается другой . . . Таков и А. М. Ремизов, один из самых замечательных

русских писателей нашего времени и причудливейший из людей, живущих на Божьем свете.

Когда началась война, и Париж потонул во мраке, — по темным улицам приходилось ходить ощупью, часто пользуясь карманным фонариком, и расстояния от такого хождения удлинялись как-то незаметно на каждом шагу. Люди стали реже ходить в гости друг к другу; многие предпочитали проводить вечера у себя дома. Ремизовы, Алексей Михайлович и Серафима Павловна, вовсе перестали выходить, у себя же принимали по-прежнему радостно. И все вечера проводили за чтением: А. М. обычно читал вслух, увлекаясь сам и увлекая слушателей. Чтение часто заканчивалось в три часа утра, с бесконечным «подогревом» — как называл А. М. чаепитие.

Ремизов был очень скромн, когда читал что-нибудь свое: прочтет главу и спросит: как вы думаете, хватит на сегодня, или еще вот прочту эту главу — она не длинная, всего две странички . . . Зато чужое читал часами, не отрываясь; иногда вдруг повторит какую-нибудь фразу и скажет: «Ведь как хорошо!» И так за чтением, за разговорами незаметно бежала ночь. А когда уходили, А. М. садился писать и часто встречал день за своим письменным столом.



Я никогда не видела А. М. без дела. Он всегда в движении: или что-нибудь делает по дому, или куда-то спешит и, конечно, каждую свободную минуту садится за письменный стол, с любовью выводя каждую букву, при этом еще выше поднимаются и без того высоко летящие брови, нижняя губа выпячивается вперед, и он горбится еще более, чем обычно. В очках, которые он обыкновенно надевает, когда работает; взгляд его делается пронзительнее, а лицо становится строже. Если же почему-либо ему мешают писать (в этой же самой комнате у Ремизовых и столовая, и гостиная, а приходили к ним гости во всякое время дня) то он, принимая участие в общей беседе, начинал рисовать лесовиков, водяных, чертиков, птиц, зверей. Весь ска-

зочный ремизовский мир оживал, начинал кружиться вокруг него и вы сами не замечали, как он вдруг и вас преображал в черную кляксу с «лапками», и вы переносились в волшебный мир «чуранья».

И откуда только бралась у него безудержная веселость, — у него, у которого и дня не было покоя, жизнь которого была полна неумных забот, постоянных огорчений и тяжелого безответного труда . . .



Серафима Павловна Ремизова, постоянный помощник и друг писателя, уже много лет по состоянию здоровья не могла заниматься хозяйством, и Ремизов делал в доме все сам. Был горничной и тогда называл себя шутя «Аннушкой»; увидит, бывало, крошки на столе и говорит, посмеиваясь: «ничего, ничего, вот сейчас придет Аннушка и все приберет». А когда он готовит — наденет передник, на котором вышита его голова, с носом-чайником, гордо вздернутым вверх. С юмором, с насмешкой над самим собой, над тем, что ему приходится делать, принимал он все невзгоды, никогда не жалуясь, делал всю нудную, не мужскую работу, отнимавшую у него столько сил, столько драгоценного времени. А чтобы С. П. все было легче принимать, он перевоплощался в своих еще неописанных героев.

Бывало С. П. выйдет погулять, а А. М. смотрит на часы, беспокоится, все думает, как бы с ней чего не случилось, например — переходя улицу . . . В этой постоянной заботе он уговорил С. П. с самого начала войны не читать газет. «С. П. слишком нервничает», пояснял он мне, — «вы тоже ничего лишнего про войну не рассказывайте . . .» И сам каждый день давал ей информацию, но с какими исправлениями . . . А то начнет вспоминать прошлое и вдруг скажет: «а помните, Серафима Павловна, как я вам принес яблочко», (это относилось к их жизни в России в 1919 г., когда яблоки были несслыханной роскошью), и при этом у него нежно засветятся глаза.

С. П. во время воздушных тревог было тяжело спускаться в погреб, а А. М. говорил, улыбаясь, что ему гораздо приятнее оставаться в квартире, так как вой сирен ему нравится: будто он едет на пароходе. С. П. ему только благодарно улыбалась в ответ. Так они не сошли в погреб и в тот день, когда Париж подвергся жесточайшей бомбардировке, и оба были ранены в голову осколками оконных стекол...



Вспоминаю, как А. М. ходил в префектуру подавать прошение о возобновлении карт д'идантитэ. Префектура в то время была завалена работой и приходилось простаивать в очередях часами; иногда и по два дня. В тот день, когда А. М. пошел в префектуру, было очень холодно. И он оделся не совсем обычно: поверх пальто закутался в длинную красную женину шаль, перевязав ее на груди, как это делают бабы, крест на крест; на голову надел еще вывезенную из России высокую суконную шапку, какой-то страшной формы и опущенную мехом. Сгорбленный, маленький, в очках, с лохматыми, торчащими вверх бровями, в невероятно больших галошах, быстрым шагом направился в префектуру. В руках он держал свое прошение — на гербовой бумаге, расписанное им самим странным письмом, разукрашенное разными виньетками, закорючками и заставками. Прощение это являлось без сомнения самым необычайным документом, когда-либо поданным в парижскую префектуру.

При виде столь фантастической персоны, ряды разомкнулись, и он легко прошел в здание. Чиновники, конечно, были заинтересованы этим удивительным просителем и его не менее удивительным прошением, и один из них подозвал его вне очереди. А. М. потом, посмеиваясь, рассказывал: «Чиновник оказался большим любителем и знатоком «каллиграфии» и пришел в восторг от моего прошения». Оно обошло всю префектуру, и А. М. тут же, без излишних формальностей, получил свое удостоверение, что обычно не делалось.

●

Камнями, что давят в жизни, называл А. М. все эти квитанции, счета за квартиру, газ, электричество, воду, которые получались так невыносимо аккуратно и с которыми ему изо дня в день приходилось вступать в единоборство. Я часто с горечью думаю, что теперь «камнями» всех размеров усеяна его комната. И как он переносит холод нетопленных домов, он, такой зябкий, кутающийся постоянно в свои «шкурки», как он называл душегрейки и различной величины и цвета шарфы, которые он надевал на себя один поверх другого. Вспоминаю его таким, как видела в последний раз в 1940 г. Он читал в этот вечер отрывок из своего еще неизданного романа, чудесной по ремизовски, может быть, лучшей его вещи. Помню, как устало переворачивала одну за другой страницы его похудевшая рука. И слышу, как звенят судки, с которыми он ходит каждый день в столовку за «простывшим супом».

Наталья Кодрянская

Оракул

На пятом этаже Половчанка. «Половчанка»—прозвище, пошло от Евреинова. Евреинов—хозар: ему виднее—половцы ближе к хозарам, на исторических перепутьях встречались. Чернявая, но не Евреинской чернотой, а именно половецкой—с синью.

Она тоже певица, но не Гретхен, а Кармен. Объехала всю Россию, побывала и в таких городах, где и показаться-то негде и в театр ходить считается грехом, на родине о. Матвея Константиновского и книгочоя Якова Петровича Гребенщикова, во Ржеве, и в соседнем Торжке, известном по «Тарантасу» гр. Соллогуба. Много хранилось у нее всяких напетых пластинок и дисков, а как поедет из Полтавы в Париж, все растеряла. И остался один Шаляпин, да и того в починку не принимают, только что для покрывки.

Ученые историки и с ними наш парижский историограф Петр Евграфович Ковалевский думают так, что Андрей Боголюбский половчанин по матери, не без половецкого зуда разрушил Киев (1169 г.): придут татары, а брать будет нечего—камень на камне—хорошо распорядился.

У нашей Половчанки никаких разрушительных инстинктов. Всякий знает: если нужно прошение в мэрию, в префектуру, к персептеру или в контроль, а также в газовое и электрическое общество, и вообще деловое письмо, и даже любовное (не слишком требовательное), подымайся на пятый, стучи к Половчанке, никогда не откажет.

Едрило хвастал: есть у него машинка—«сама сочиняет письма». Казалось, чего бы проще, нечего и беспокоить Половчанку, но смельчаков на такое механическое письмо не оказалось. Еще рассказывал Едрило о своем ученом попугае: попугай «бегло» говорил по-французски и «наизусть» скажет без

заминки «Выхожу один я на дорогу», а когда пришлось Едриле бежать из Петербурга от большевиков, попугай повесился над его покинутым письменным столом—в таком виде и нашли его при обыске. Возможно, что этим попугаем Едрило и отпугнул: «пускай уж на простой машинке, но дело будет вернее!»—так рассуждая, подымались не под небеса к Едриле, а на пятый, к Половчанке.

И еще известна Половчанка по своему знаменитому брату. Он жил в нашем доме и только незадолго до войны переехал. А называется он «Железный»—определение одной из бесчисленных его поклонниц. Однажды за чаем у Половчанки, присоседившись к нему и так, что «утеснение» между ними оказалось самое пронзительное, она не могла тронуть его железное сердце. Железный поднялся и даже по-чижевски не переложил в кармане ключ. Он продолжал говорить тем точным бесстрастным голосом, каким говорят только юристы, объясняя и самые запутанные дела.

И до чего это странно: когда слушаешь такого, как Железный, все кажется так ясно и просто, на деле же всегда оказывается необыкновенно сложно. А объясняется это очень просто: есть юридические аксиомы—всегда какие-то само-собой-разумеющиеся условия—но кто же и когда говорит о самоочевидности. И вот эта недоговоренность для нас простых, не юристов, потерпевших или могущих потерпеть, отсекает всякие пути к цели, если попробовать действовать на свой страх, или запутывает дело и там, где и путать-то, казалось бы, нечего. Без всякого дела, я люблю слушать юристов: их рассуждения всегда действуют успокоительно, как решение задач и рисование.

«Железный»—если подвязать ему бороду, а на голову островерхий в звездах колпак, его можно поместить в любом Оракуле, Календаре и Соннике, лучшего Волшебника не нарисуешь. В нем ничего от половецкого стана, а между тем Половчанка его родная сестра.

«Природа идет по своему, а не по нашему!»—вот что

сказал бы небезизвестный Кузьма.

А прославился Железный на весь Отой «зажигательным» студнем, подлинно, Волшебник.

Затеял Железный с П. Н. Переверзевым хозяйством заняться и взялись они студень варить. Бухнул Железный в «бучило» — другой подходящей посуды нет в хозяйстве—двенадцать бычачьих ножек, а меры и не знает, сколько на варку. Понадеялся на Переверзева: министр! А Переверзеву тоже впервые. «Да, долго, говорит, варится, не одна ножка, а дюжина». Да еще и поспорили. Переверзев по-московски «студень», а Железный—полтавский, «холодцом» называет. По Железному, и откуда он это взял?—«нормальный холодец» вываривается в неделю. «У вас, Константин Данилыч, ваш нормальный холодец вываривается в неделю, Переверзев нетерпеливо поправил очки, а наш обыкновенный московский студень, по крайней мере, с месяц, помню с детства, каждый вечер к ужину подавали студень с хреном».— «А почему вы, Павел Николаевич, все говорите бычачьи ножки, хороши же у быка ножки!» поддел Железный. Но Переверзев ничего не ответил: в самом деле, неужто он сказал «ножки»? Бучило поставили на радиатор. Прошла неделя. Видят готово: все косточки и хрящики выварились, пальцем не поддеть никакую бабку. Дали остыть. И получилось—что-то вроде лошадиного клею. На тарелку попробовали—не вылезает; взялись ножом—нож не берет. Хоть молотком в пору. И какой-то дух пошел копытный и еще чем-то, «неразложимым» — «неподдающееся никакому химическому анализу», как выразился сосед по проникновению. «Ешьте сами, Константин Данилыч, сказал Переверзев, а я ваш этот холодец есть не буду. Двенадцать пар бычачьих ног ухлопали!» И когда Железный остался один, он вынул из бучила несколько кусков-тверже камня, такая крепость!—завернул в газету, взял секачку и принялся рубить, и рубил кусок за куском, разрубая на мелкие кусочки — миллионы блестинок сверкали под секачкой. И вдруг, как от спички вспыхнула газета.

К вечеру бучило опустело, ни холодца, ни студня, боль-

ше рубить нечего.

Завтра, когда заглянет Переверзев, конечно, он принесет хрену, вот удивится. «Из двенадцати пар бычачьих ног, скажет, миллион камушков для зажигалки!»—«Какой миллион, мы весь Париж завалим!» И правда, пол и все стены и знаменитый «полубобрик» в осколках сверкают, сверкал и сам Железный: камушки для зажигалки—поди-ка купи—на вес золота!



И еще Половчанка известна но необыкновенному подбору жильцов: Анна Безумная, Аксалот, Утенок—одни имена говорят за себя.

По замечанию Льва Исааковича Шестова, на глазах которого прошла вся наша жизнь, к нам приживаются или сумасшедшие или обездоленные; а чуть человек образумится или выйдет на дорогу, он нас непременно покинет. Так было всегда и ни одного исключения я не помню.

Утенок обездоленный. Поселившись у Половчанки, большую часть времени проводил он у нас. Он и появился у нас по обездоленности—раньше, когда был устроен в жизни, ему и в голову не приходило познакомиться. Странная судьба этого Утенка. С половины зимы он перекочевал от Половчанки к Железному и все-таки каждый вечер забежит к нам: сначала ко мне, на кухню, а потом мы вместе переходим в комнату к Серафиме Павловне, где и пили чай и я читаю—за чтением Утенок спит: за день-то намается. Утенок у Железного присматривал за хозяйством и так надоел, Железный и решил под каким-то «благовидным» предлогом пристроить его в другое место. Слава Железного начнется без Утенка, когда станет очень трудно достать спичек, а о камушках для зажигалки и думать нечего. Утенок очутился в квартире у Лягушки. У Пришвина кошка кормит покинутого лисенка. Очень это странно, но такого, сколько не думай, не придумаешь и поверишь в слепые (для нас «слепые») силы, соединяющие и разъединяющие, как живое, так и мертвое. Про мертвое я на кладбище

подумал: «а кому под-бок тебя под землей подсунут?» А среди живого: лягушка и утенок—из какой-то сказки, так это звучит неправдоподобно. Утенок может съесть лягушку, всего можно ждать и не в сказке. А лягушка . . . И от Лягушки, как от Железного, вечерами Утенок прибежал к нам. А кроме того, Утенка звали Ольгой. Тайна ее имени. Я не совсем понимаю, но это имя собиралось вокруг имени Серафимы Павловны—второе имя ее Ольга: отпустить ее из этой жизни.



Анна Безумная, потому что безумная, ей и было место у нас. На нее нападала черная тоска—беспредметная—«душа болит!»—и она сидела с Серафимой Павловной. Она с трепетом слушала мое чтение. Но не все на нее действовало, надо было такое, чтобы «хватало» за сердце. Человек перед стеной—не проломишь и обойти невозможно—«тьма неисходная». Письма Аполлона Григорьева, сцены из Достоевского. Она заходила и ко мне, на кухню. Я выдумывал всякие «без-образия». Это мое—и при всяких обстоятельствах—засушенный, сурьезный или трезвый, но не мудрый, непременно остановит меня и даже может обидеться. Но ведь Анна Безумная—безумная, у нее самое что-то не так, только я все сознаю, а у нее влечение из ее темной расстроенной души. И сколько бывало чудачества, как жила она у Половчанки, всего не пересказать. Помяну случай с «контролем».

Обжившись, она потребовала от хозяйки, чтобы та ежедневно в «письменной форме» давала ей точные о себе сведения, когда выходит из дому: «куда? к кому? и когда вернется?» (Адреса и телефоны). Для «безобразия», я посоветовал прибавить и «по какому делу».

Я помогал Анне Безумной в составлении этих опросных листов, написал ей пример, расположив вопросы графически ясно, просто и стройно. И бумаги нарезал такую вот стопку (бумага еще водилась) для подкладывания и для «упрощения делопроизводства». А чтобы убить время—время ее враг—од-

новременно с «контролем» я сочинил ей «литературную» работу. Она была в восторге. И с месяц мы разбирали старые газеты—но не по содержанию, а по размеру: в коридоре вывели целую колонку под потолок. А в часы ожесточения, когда руки ее тянулись царапать что-ни-попало, она под мою диктовку старательно писала любовные письма знакомым и незнакомым... Она и сама любила сочинять, но всегда напишет карандашом так неразборчиво, понять ничего нельзя, как ни старайся. Свои письма она подсовывала под дверь—верный способ: не пропадет.

Бедная Анна Безумная! Душа у нее ласковая, мученица! —нет, не вернется, за что и куда ее угнали?



А до Анны Безумной в ее комнате жил Аксолот. Очень смиренный, занимался графологией—изучал почерка—так и проводил время в тихом занятии. Он тоже спускался от Половчанки к нам: ей была любопытна моя графическая китайщина. Конечно, если человек на почерках сосредоточится, и пусть он самый растихий, а уж какая-нибудь странность в нем таится. Да так оно и оказалось.

При всеобщем перепуге после 10 мая (1940 год), когда правители наши, вдруг сделавшись людьми верующими и богомольными, отправились в Нотр-Дам служить молебен, а в речах и газетах зачастило слово «чудо»: все надежды возлагались на чудо. Но, как известно, береженого и Бог бережет, и благоразумные бросились кто куда и Парижа. Побегал и Аксолот, забрав от Половчанки все свои вещи—до перьев и карандашей, и одно забыл,—не думаю, чтоб преднамеренно, горшок. А горшок был единственный во вселенной как стали его величать механики и водопроводчики, подлинно, чудо искусства: «самосветящийся урыльник».

Устройство урыльника не сложное, но механизм хитрый: стоит только усесться поудобнее, как тотчас внутри горшка зажжется электрическая лампочка, кроме того, если надавит

кнопку, горшок можно поднять по желанию—он был установлен на складных металлических прутьях, в роде гармонии,—и на корточки садиться вовсе не обязательно.

Про этот диковинный нужный «аппарат» скоро стало всем известно и не только в доме, а и кругом до Тоненькой шейки, булочницы, и Бешенных баб, зеленой рынок, соседний с Иваном Павловичем Кобеко.

«Сору, говорите, из избы не выносить!—говорил Иван Павлыч,—хороша была бы изба, если бы копить в ней такую драгоценность».

Горшок Аксолота сделался популярен не менее, чем голландец, Евреинов и фотограф Лиже, и на время затмил камушки для зажигалки, изобретение Железного.

И не редки случаи, зайдет к Половчанке какой-нибудь по делу, большие дамы, а из разговора выясняется, что пришел человек «горшочек посмотреть».

Бедный Аксолот, его судьба—горькая участь Анны Безумной: не вернулась—где-то по дороге зацапали и увезли.

Так и остался горшок бесхозяйственный владеть Половчанке.



Пупыкин, как Едрило, за все берется: сфотографировал горшок и делал над ним всякие опыты, но секрет механизма разгадать не мог. И только думает, что горшок—персидский, «тайна востока».

В судьбе этого персидского горшка было что-то похожее на историю с пишущей машинкой учительницы Семякиной. Только без всякого чаромутия: ни загадочных персидских начертаний, ни разваренной картошки и никакой «комнатной массы» из Алжирских мух.

Делая опыты над горшком, Пупыкин свинтил винтик, а где новый винтик достанешь?—и погасла электрическая лампочка; а сядясь на горшок без надобности, расшатал самодвижущуюся подставку—она оказалась не металлическая, а из

картона, оклеена серебряной бумагой; и вот кнопка не действует. И ничего персидского—горшок, как горшок—«до-военный»!

Нынче нет ненужных вещей, все пригодится. И Пупыкин, завладевший горшком «революционным порядком», приспособил его к хозяйству: вымачивает в нем бобы, чечевицу, сейчас мочится «Вельтеровская»* овсянка, по крепости ореху не уступит, «персидская».



Я люблю Восток, а Персию особенно: мое пристрастие к каллиграфии—«Тысяча-и-одна ночь»—Огонь—Заратустра—Мани. В детстве из первых встреч куда больше, чем московских немцев и обмосковившихся англичан, мне попадали на глаза черные носатые персы и желтые с косами китайцы с косыми глазами. Москва тянет к себе все это пестрое, цветное и яркое, как нас тянет к ним за «три моря».

Где-нибудь в Юшковом переулке—каменные амбары, склады и тесные «конторы», живой души не увидишь и вдруг важно выступает Кашемирский купец—одна борода чего стоит! Земля полнится о таком, о Кашемире—держи ухо востро, на глазах перевернется: то он барс, а из барса в коня, а из беркута кречет, а из щуки пескарь, он и лапчатый гусь, колкий еж, сокол, петух, а раскатится в мелкий жемчуг, хочешь схватить, а он черной жемчужиной и был таков.

Юшков переулочек известен не только большими купцами, из него вышел «Скорпион»—Сергей Александрович Поляков, издатель журнала «Весы»—русский символизм.

В Казани в мечетях меня принимали за своего и я обряжался в туфли, как правоверный, с тибетскими ламами я не чувствую себя «иностранцем». В революцию все народы Вели-

* Г. Г. Вельтер, по словам Ивана Павлыча, когда писал свое исследование о русском ударении, питался, по каким-то своим соображениям, исключительно овсянкой, а закончив труд, раздал, что осталось приятелям на корм, вот почему и название «вельтеровская», а не то чтобы такой сорт крепкий.

кой Сибири сошлись на Васильевском Острове в моей серебряной «кумирне» (на стене серебряные бумажные гнездышки — приютились сучки, обрывышки, корни — «нежить и нечисть» для простого глаза — потайные существа с полей и лесов русской земли). Бывал и я в их кумирне.

Мое восточное соединяет меня с нашим востоковедом «эмиром» Василием Петровичем Никитиным, кудесником нашего Оракула и чернокнижником (Черными книгами весь его подвал забит).

Жил «эмир» на четвертом под Половчанкой и над той, «собаку которая мыла», а теперь на восьмом, выше некуда. В светлые ночи, после трудов, любитесь он на Париж, вышептывая любимые стихи Мохамеда Икбаля, из Лагора:

Должна любви очень далеко, дорога длинная, но
свершение столетнего пути в одном вздохе мгновенно.
В поисках трудись и не выпускай из рук полы надежды,
богатство там, ты обретешь его в конце пути мгновенно.

Эмир в ореоле славы и нимбе величия — эмир! проходя по долгой лестнице из своего улуса, ни с кем не заговаривает и ни на кого не смотрит — из чародеев он выше всех чародеев на голову, пожалуй, только под Едрилу. А если бы кому пришло на мысль спросить его невзначай даже такое домашнее и нетерпеливое: «будут ли топить?» — он ответит, но ответ его звучит или по арабски или по персидски.

Его называют марид — «дух отречения и изгнания», возможно, что он и есть «марид», но только добрый из маридов — «инфрид», я замечал, сколько нежности в его словах с детьми и дети идут к нему, нисколько не боятся и не стесняются.

Консьержка уже не та, что любила тепло, и в доме у нас круглый год топили, не «Сестра убийца», и не веселая Роза, а василиско-глазая Костяная-нога, — когда проходит эмир, Василиск «салютует» перед ним щеткой, как солдат ружьем: эмир здороваётся с ней не по арабски, не по персидски, а на ее родном языке — басков.

По воскресеньям наши персидские встречи.

Когда-то эмир занимался курдами, а теперь пишет историю о вольном казачестве. Кроме персидской науки, он дает мне свои русские выписки из жизни Донских казаков, особенно важные он делает по афинскому способу на раковинах. Он знает мое пристрастие к словам и чудесному—к тому чего не бывает, а только живет в человеческом желании—к легендам, сказкам, вымыслам. Из каждого нашего свидания я всегда что-нибудь получаю чудесное и всегда жду персидской субботы.

От Евреинова до Никитина—такой наш Оракул богатый. А сколько прошло и проходит чародеев—они от Евреинова в-верх до Никитина, как летучие мыши на белое.



Очередь за мной. Но я не чародей, не волшебник, не волхв и не кудесник: я только в стенах Буалонского Оракула и зиму и лето мерзну. Рассказать о себе нечего—я весь в моих рассказах о других, мне нечем похвастаться.

Когда-то в Москве остановишься около шарманщика с птичкой или попадетя по дороге который-нибудь из неговорящих ни по каковски с обезьянкой—у обезьянки юбка, как теперь носят, и лапками она себе колени прикрывает, посмотришь, послушаешь и за «судьбу». А на счастье вынет тебе билетик или птичка или обезьянка, без обману.

Попробую-ка своей рукой вытяну на счастье себе из «остракических» расписных раковин эмира—о «казаках».



Ну, вот и приговор.

Говорит устрица:

«Поезжай и спроси, где живет казак Тит Ремизов. **Ни к кому не обращай**, а вызови непременно его. А когда его вызовешь, то скажи: «Я ищу корову, не приبلудилась ли к вам: у нас пропала. Он сейчас же поймет, что это шутка,—он хоть и слепой, но хитрый, как идол; с молоду на обухе горох молотил».

«Дворецкий»

I

Дягилев (1872-1929) в Петербурге искони был «идолище» — и таким остался до своего русского «интернационала»: он покинул Россию для всемирной славы России.

На него смотрели: человек одаренный всеми дарами: певец, музыкант, художник, писатель. Да так он и сам о себе думал и безуспешно пробовал силу в искусствах — дикий звериный голос, слова без связи и выражения.

Гордо поднятая большая голова — седой отчёт, стоит он, левую в карман, левым — в оба, правый — вжмурь, какой живописный — пустоцвет! И тут же в сторонке — видит он или не видит — серый камушек: его нянька.

Няньку знаю по рисунку Бакста, а встречал другую — старые русские няньки — крепостное тепло — одной породы! — няньку Мережковских.

Ее на Литейном и на Песках величали за кроткое усердие и необыкновенный хозяйственный нюх «нянечка». Получить такой надзорный камушек большое счастье: не пропадешь.

Произнося «Сергей Павлович», нянька исходила всеми своими стертыми заботами, как перед образом ставя тоненькую свечку. Тоже и Михаил Алексеевич Кузмин — и у него со всем убеждением Символа веры: «верую» — звучало, прерываясь: «Сергей Павлович».

Катучему камушку и для крылатого александрийца слово Дягилева — суд непосужаемый.

Обездолив талантами судьба наделила Дягилева редким талантом. Талан Дягилева — суд. Судить — различать. Дягилев великий дискриминатор — «в равных различаю».

Он покажет всему миру из русской сокровищницы русские драгоценности. Дворецкий в чужих прославит свой Двор-Россию: Шаляпин, Нижинский, Лифарь, — Стравинский, Прокофьев — Павлова, Карсавина, Спесивцева — Бенуа, Серов, Бакст, Рерих, Головин, Коровин, Лансере, Еремич, Гончарова, Ларионов.

II

Наше знакомство начинается по-дурачки: я написал Дягилеву — Дягилев мне не ответил.

Не отвечают на письма: или опытные жулики — всякий документ и самый незначительный улика; или незаинтересованные — на всякое чиханье не наздравствуешься; или что веруют в грамматику и стесняются своей нетвердостью.

С Дягилевым никакое не путается, — так в чем же дело?

Редакция «Вопросы Жизни».

В. Ж. — толстый журнал 1905 года: благонамеренная революция, живописная эстетика прекратившегося «Мира Искусства» (Дягилева-Бенуа); критические переоценки исчезнувшего «Северного Вестника» (А. Л. Волынский); декадентские отщипки московского «Скорпиона» (В. Я. Брюсов); религиозно-философские курбеты Мережковских, наследство «Нового Пути»; стихи А. А. Блока, разжиженная пародия на монументальных «Головлевых» — роман Ф. К. Сологуба «Мелкий бес», фаллические гастроли В. В. Розанова и внутреннее обозрение — В. В. Водовозов и Г. Н. Шпильман — на улице Революция! Редакторы: отставные марксисты — Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков (тогда еще не о. Сергей, а Сергей Николаевич). Издатель Д. Е. Жуковский.

Я занимаю должность ответственную, не по-носу: на моих руках хозяйство — кассир, бухгалтер и сметчик.

Жуковский, усумнившийся в моих литературных способностях (в В. Ж. печатался «по знакомству» мой «Пруд»), беззаветно и самоотверженно поверил в мой коммерческий

талант по моему знаменитому московскому торгово-промышленному и биржевому происхождению.

«Что вы такое написали, Дягилев обиделся?» озадачил меня Жуковский.

— По делу о ликвидации Мира Искусства, — и я показал копию моего письма, — Дягилев не ответил.

Жуковский, внимательно читая мое письмо, подхмыкивал, что означало «правильно».

«Но причем тут дворецкий?» и он громко повторил мою подпись: «дворецкий Вопросов жизни».

— Дворецкий, моя должность!

«Понимаю! громче произнес Жуковский, радуясь, что разрешил загадку, Дягилев обиделся на «дворецкого». Говорят, он сказал: «я с лакеями не переписываюсь».

— А вы знаете, что такое «дворецкий»? и я Дягилевым городо поднял голову, дворецкий первый при московском царе и великом князе, заступает царя в судебных решениях. А он меня в лакейскую. Да это все равно, что спутать государева приказного дьяка с церковным дьячком!

Жуковский зоолог, ему как и Дягилеву историческое значение «дворецкий», в первый раз слышит.

«Я сам ему напишу, сказал он, морщась, что означало, не доволен.

III

Вечер у Паренсовых — мое первое петербургское выступление.

В гостиной, куда собирались по особым приглашениям — цвет Петербурга! — было заставлено и очень тесно, а нарядно-бархатная круть, и все эти причесанные вечерние, несуетливо передвигавшиеся занимая места, казалось, задавят меня, а между тем, проходя, я задевал и ковер и кресла. И как обрадовался — в моих затолоченных глазах вдруг заголубело: А. А. Блок, Л. Д. Семенов-Тяньшанский и Н. Н. Ге — они были в студенческих мундирах, весенние. А за ними серым комком —

серые моржовые усы, блестя лысиной Ф. К. Сологуб, — знакомые.

Первой выделилась из вечернего в белом З. Н. Гиппиус: ломко и снисходительно проговорила она стихи — поминался Брюсов: «Валерий, Валерий, тебе поклоняются гады и звери, студенты, купцы гимназисты» — остроумие понятное разве Блоку, Фолософому, Нувелю. «Я еще и не такое прочитаю!» — «Зина!» — остановил Мережковский. Все были довольны. Философов и Зинаида Николаевна — устроители этого благотворительного вечера.

В черном мужском скромно, но не по женски твердо, в сапогах, — дочь историка и сестра философа, вышла Поликсена Сергеевна Соловьева (Алегро): читает медленно с горьким жаром вразлад с мясистыми щеками жабы. Она могла бы пропеть Чайковского, но об этом не говорится. Дружно хлопают.

Комаром усевшись под лампой лает по рукописи Д. С. Мережковский с укором неизвестному, пугаясь. Все ждут сухое властное Зинаиды Николаевны: «Дмитрий, будет!» Но он сам во время закрыл тетрадь и поднялся. Хлопают восторженно. Или мне слышится: очень я волнуясь.

Я читал «Пасхальную ночь» из «Пруда»: самоубийство матери. И не догадывался, с каким возмущением следят за моим голосом, особенно: «веревки под рукой не оказалось, она схватила со стула панталоны, сделала петлю и полезла к ламповому крюку... монах в ярко-зеленой шуршащей рясе, он гонялся за ней и вдруг присмирел, следя; из его рассеченной брови струится густая кровь, бормочет: «Ой, барыня, барыня, сударыня барыня», а из распахнувшегося пространства с пасхальными свечами весеннее ясный голос: «Христос воскрес из мертвых».

Я поднял глаза и мне показалось: одни повернутые спины, конечно, вставали с места: перерыв; а это мне не показалось, я услышал недовольный шип.

И вдруг я увидел близко большую коневую голову «се-

дой отчёт», и золотое: Дягилев и рыжий Бакст. Что-то потянуло их ко мне — что-то тронуло в моем ни на что не похожем наперекор.

Скажу, как смотрю я теперь на мой «Пруд» (Редакция 1907 г.): «Пруд это вереск и крик пробудившейся души, словесно взвихренное с тихими полевыми запевками, неумелое, барахтающееся — отпугнуло не только петербургский чопорный зал, а и Москву взвитуую неповторимым Андреем Белым и Россию Горького.

О «дворецком» с Дягилевым ни слова, а было б к месту, или он забыл, или я в его глазах не я?

Выходя из зала, я не озирался, не задевал, я шел твердо, не по своему.

В дверях у стен, послушно и без надменной игры ноздрей, Шалапин: если бы у него под мышкой оказалась салфетка — салфетка ничего не прибавила бы: перед Дягилевым, подлинно дворецким, все казалось или только как-раз или просто «людьми».

IV

Имя Дягилев начинается с выставки портретов в Таврическом дворце.

«Мир Искусства» — литература, останется памятной по В. В. Розанову и Л. И. Шестову, а что потом будет называться «Миром Искусства» пойдет не под Дягилевым, а под именем А. Н. Бенуа.

Выставка открылась в Феврале 1905 г. Канун революции. Самое громкое имя: Каляев. Но и Каляев великокняжеской смертельной бомбой не заглушил имени Дягилев.

Со стен Потемкинских хором глядят в последний раз хозяева Императорской России (1705-1905).

«Сергей Павлович, история России вам не темная грамота — вся вековая твердыня: православие — самодержавие — народность, — вот она. Ваш труд».

Такое восторженно повторяли всякий день и у Дягилева

Александр Ремизов



Автопортрет А. М. Ремизова.

выработалась ответная механическая улыбка и никакого внимания.

«Сергей Павлович, а как вы думаете, за Императорской Россией Русия царей пустое место!»

Дягилев посмотрел на меня левым «в оба», как с Бакстовского портрета, я беспокоюсь на оба прищурился.

Как! он ли не знает Россию — о какой же еще Руси?

Не понял, но поймет — не скоро, после 1917-го года и не в России, за границей он кинется за старопечатными книгами московской печати ревностно и борзо, как колесил однажды по русским дорогам за старыми барскими портретами.

Сокровищница Дягилева портреты господский век России сгорит в революцию — их спалила не революция «восставшего пролетариата», а обида — черные люди черной земли, обездоленные при освобождении от крепостной зависимости 1861 года. А Московская Русия — дягилевское собрание редких книг жива, хранит Лифарь в своем парижском обезьяньем притоке — «князь обезьяний!» — подспудом.

V

О ту пору в Москве обнаружилась Обезьянья Великая и Вольная Палата (Обезвелволпал).

Она объединяла всех нездравомыслящих, освобождая от всяких обязательств — изобретение хитрой бестией — человеком, прикрывавшим свое ничтожество подлой, судя по себе, «справедливостью».

В этом высоком обезьяньем учреждении под обезьяньим царем Асыкой — которого Асыку никто никогда не видел и о котором обезьяне никто ничего не знает, — и его семи князей мое место по старине «царский диак», а на современный «канцелярист».

Невский кишел явными и тайными обезьянами. Кому я только ни сочинял обезьяньи грамоты — разрисую разными красками печать и гербовую марку и остается подкласть под хвост царю Асыке, размахнул хвостом «собственнохвостно» и

грамота готова: бери в обе лапы.

Писатели, художники, музыканты — если бы все берегли мои грамоты, можно было бы сделать богатую «колониальную» выставку. И из всех один Дягилев, а как ему шел бы тайный обезьяний знак! — никогда не проткнулся в Обезьянью Палату. И сколько раз В. В. Розанов и с упреком: «недобрый, черстное сердце, Разумнику (Иванов-Разумник) выдал, а Сергея Павловича опять обошел!» Меня останавливало: пошлю я ему грамоту, а вдруг да обидется!

Дягилев цвел всеми цветами очарования, но веселости — «юмора» не замечалось. Чем-то отравленный, о другом было сказать «пришибленный», ему все всурьез. Или возиться с чужими талантами и сознавать, что сам ты ничего не можешь, откуда там веселости?

Самому с собой Дягилеву делать было нечего и вот он богатый отборным чужим добром повез огреть мир Россией.

Что может заглушить музыку - - Мусоргский ---- Шляпин! --- только переход в другую музыку, в другие голоса — но как там звучит или что соответствует нашему звуку какая неизбежная, какая разлучная небесная скорбь . . . о земле или о еще высших небесах.

Дарами и творчеством земной «сознательной» жизни в отмеренном сроке мы продолжаем извечно начатое радугой в веках.

В канун войны (1914 г.) я увижу в Париже еще одно привозное Дягилевское чудо: Нижинский --- людоптицу.

Его задерживающиеся в воздухе прыжки - - поднялся и висит - - его непрерывный лёт поднимали сцену на воздух, будили память о вещих птицах, предрекавших шумом крыльев — воздушными словами — судьбу.

Потом --- и снова Дягилев - - Лифарь будет чаровать живым полетом человека, Лифарь откроет глаза человеку о его забытом сне.

Стравинский и Прокофьев — вот как звучит Россия. И Гончарова, Коровин и Головин краски русской земли.

VI

Дягилев и Бенуа! — без них и спичка не зажжется.

А. Н. Бенуа при королевском дворе воспитан, Версалец, а умен многотомно, по душам с ним, мимо ушей, бери делом, делу помехи не будет и дельный получишь совет. Но ревнивый Дягилев — ревность всегда сознание своего бессилия — враждебно исключал все, кроме своего, ококолокышет враз.

Балетная затея М. И. Терещенки с моей русалией «Ада-лей и Лейла» провалилась, и тут не столбняк и смерть Лядова, не война, нет, Терещенко «иностранец» (министр иностранных дел при Керенском) не знал наших обычаев и задумал обойти необходимое: Дягилев-Бенуа.

На собрания к А. Н. Бенуа на Адмиралтейский канал я приходил загодя. Меня предупреждал только С. С. Боткин — растительной породы из кукуруз, и ржет как конь. На наших глазах подходят гости. Позже Дягилев.

С появлением Дягилева все вдруг менялось и выросло. Когда в рассядку, пожалуй, и не различишь, а тут всякий на показ и со всем своим кладбищем.

Добужинский до потолка и с потолка висят графические руки. Еремич, вытопляясь теплыми листами, отенил Чехонина. Чехонин мне под стать, а смотрю на него с закатом. Розовый Лансере распустился в алый куст. Шервашидзе с Аргутинским плывут черным облаком, прямо на Эльбрус. Золотой Бакст вымедивается в шлем Мембрана, Головин с потупью царедворца менял тарелки. Остроумова беззвучно щебечет, а Билибин татарской бородой конопатил бантик и сердечки Сомова.

Нарбут вытеснил вокруг себя весь воздух и тень его Дыдышко и в бабьей распашенке испанской Замирайло поднялись над его головой. Замирайло удержался, а Дыдышко пошел выше и глядит сияя с крыши.

Не без опаски заглядывал хозяин или Анна Карловна в дымившуюся «ердань»: не сшибли б лампу!

Всякому мотай на ус — что скажет Дягилев, и Дягилеву выложить свое.

А Дягилев прислушивался к Бенуа.



Я не говорун и не показ, я из декоративного чувствительных. Но дважды меня прорывало и я распоясался. При обсуждении о постановке «Жар Птицы», я показал всю мою «Посолонь» с лешими, травяницами и водыльниками. И когда начались разговоры о «Весне Священной».

Над «Весной Священной» много тогда бились и все без толку. Россию все знали, Русию кое-что Билибин и Чехонин, а Русь — Рерих с русскими холмами застрял и никак не мог выколупнуться из каменного века.

Я рассказывал о полевых, лесовиках, кикиморах и воздушной жити. Всю эту «нежить» я знаю из сказок и слов. Точнее не вербалист я вербальтор: слова мне раскрывают больше, чем мой голос, мой слух, мой сон.

«Весна священная» — весенний обряд — «поцелуй неба и земли» в круге культа мертвых, как Масленица и Радунница. На этих весенних русалиях непременно маски — рядились зверями, птицами, чудищами и чучелами.

«Человек в обличьи человека в том мире чужак, отпугнешь. И поцелуй будь даже без нацела в-мах сорвется. Все нечеловеческое как и мертвые, ближе к звериному, чудищам и чучелам-чумичелам».

Дягилев слушал... но это не его Россия, не Русия, а волшебная Русь.

VII

Левый, которым смотрит в-оба, его зоркость и мера мне открылась на репетиции. Я наблюдал за Дягилевым, и на сцену.

Нетерпеливо барской мелкой сечкой рубил он пространство из рядов балкона, выпрямляя закруту, закручивал прямую.

Меру он держал глазом, но живого человека выпрямит и втиснет лишь глухой удар и меткий, смерть.

Как он поднялся и заплеснув партитуру, пошел — видно

было, ему все надоело.

На кого он был похож? Что осталось от его гордой большой головы великого дискриминатора? Наряженная старая кормилица — а кормить нечем.

Таким в моих глазах Дягилев в нашу последнюю встречу: «Зефир и Флора».

«Лифарь, сказал я, чудесно!»

И читаю в бесформенной мазне его сузившихся глаз — какая пустыня! - горит предутренним светляком Борей.

«Когда-то я был, нет, вы забыли, старый дворецкий, а теперь я старый китаец».

— И мудрый!

Дягилев широко улыбнулся. И эта улыбка легким воздухом покрыла наше прощайте.

И я подумал:

«Пускай заочно, без грамоты и знака, будет Сергей Павлович тайный дворецкий Обезьяньей Великой и Вольной Палаты».

Алексей Ремизов

Разговоры с Ремизовым и о нем

Критические статьи о творчестве Алексея Ремизова, как правило, не удаются. Потому ли, что мир его располагается (по его определению) вне «дневной, ограниченной действительности» и вне «правды трезвого, нормального зрения»? Критик же чаще всего идет к творчеству «разумом вперед» — путь явно ложный в случае Ремизова. Ремизов живет всецело своим талантом, в художественном чаду, в котором даже простое, обывательское, зацепляясь за его фантазию, оборачивается сказочной изнанкой. За полвека, что Ремизов занимает видное место в русской литературе, и чуть не сотня его книг издана за это время (не только на русском языке) и талант его безоговорочно признан, мир, созданный им, не стал явственней для всех, или формы менее неожиданы, а язык менее диковинным. Не только для широкого читателя, но даже и для своего брата-писателя Ремизов не только виртуоз, но часто «фокусник». Как сказал один критик: «Ремизов — Бог ему судья — пускает по воздуху колесом зажженные лампы и на лету ловит их и собирает себе под полу». Нередко подозревают его в желании «удивлять», особенно потому что сам Ремизов открыл свое движение «наперекор». По существу «удивлять» отнюдь неоднородно с движением наперекор: желание удивлять — озорство, а «наперекор» — восстание, расчистка нового пути.

Приблизиться к творчеству Ремизова, пожалуй, легче, поговорив с ним самим. С его разрешения, привожу здесь отрывки из его писем ко мне на эту тему.

«. . . Думается мыслями, пишется и говорится словами. Расцветают мысли или стелятся побеги. Два способа выражения мысли. Для изображения надо оцветить. Всякую фразу по двое скажешь. Говорю о себе и за себя. Русской словесной культуры нет — учиться не у кого. Критика ни-

когда не говорит, как написано, или ничего не говорящее «красочный язык». Занимаются «смыслом», без перспективы — не зная истории литературы и языка.

... Все что писал и пишу, все автобиография. С этого у меня и начинается. Я схватился за Ихнелата, потому что я давно его чувствовал в себе. После Ихнелата Савва Грудцын, свое и о себе... Стало быть основа моих рассказов не мысль, а чувство. Оттого, что задело, думаю... Описание природы и рассуждения для меня всегда скучны, я искал «живой жизни». В описаниях затасканные определения, а рассуждают «общими местами» или просто пустыми. Писал только для своего удовольствия, никогда ни на кого не озирался. Слова «читатель» для меня не было. Будут меня читать или не будут, мне все равно. Делаю словесно вещи, норовя позвонче. Часто сначала рисую, а потом пишу. Места себе среди великих никогда не искал. Всю жизнь чувствую, стою на паперти с нищими. И возвращаюсь с копеечкой в свою скважину корпеть над рукописью... Читаю свое только сейчас что пишу, а перечитывать не могу: скучно. А пишется ли еще как по-другому, не знаю.

А. Ремизов. 11 августа, 1950 г. Париж.

Участь писателя, который пишет, не озираясь на читателя, вызывает недоверие последнего и некоторую опаску со стороны редакторов и издателей (посредники). Ремизов это знает и мирится с этим. Он пишет себе на радость и на горе, не ждет, не требует удач на рынке. В нем нет профессионализма, столь чреватого людскими слабостями и заданиями.

Его фраза «Оттого что задело, думаю» и есть указание, что не «разумом вперед» надо идти в его творчество. У него в каждом рассказе есть то, что «задевает», особенно русского. Ну, и дать «задеть»! а после (задевшись) задуматься, когда уже найдена скважина в его мир. Пусть диковинный! В художественный мир ходят не за своим и всем-известным. В него идут обогащаться чужим, неизвестным, впитывать его в «свое». А язык художественный это язык, в котором смысл, звук и образ — одно. Его ошибки не в грамматике, а в нарушении этого слияния. Таких ошибок у Ремизова не найти.

В письме от 7 мая, 1951 г. Ремизов пишет:

«. . . Мое можно так понимать: от книг и из жизни -- (матерьял), памяти-воображения (воображение — игра мысли, а дирижер --- я); пламени моих чувств и ритм (словесное выражение); из жизни — я выдираю из туманности образы; ритмический ряд создает картину. Нарушить мою ритмику, значит, исказить всю картину.

Я боюсь с о з в у ч и й — они возможны, когда вычеркивают, сокращают мои вещи. А всякие «созвучия» разрушают мою ритмику».

Относительно языка Ремизов пишет 16 апреля, 1950 г. следующее:

«. . . У меня постоянно недоразумения с моим слогом. Ищут чего-то обезьянского, а на самом деле если что и есть, то только отголоски русских ладов. Критики не знают истории языка, на котором говорят и пишут. Вы правильно заметили (относительно стиля Ремизова): «до петровский». Точнее было бы сказать: глаз на до-петровский, на приказный язык.

В до-петровском три стиля:

1. приказных дьяков — точный
2. просторечие — разговорный
3. книжный — церковно-славянский.

Со «щами» и «внами» (причастие наст. времени и прошед. вна) «вши» еще как то с русским вяжутся, а «щи» -- никак. А между тем наша книжная речь ими пронизана. Я ничего не хочу воскрешать, я хочу выпрямить русскую речь.

И еще одно недоразумение: моя наука, как она называется у моих учеников (Замятин, Пришвин, Пантелеймонов) принимается, а мое — каждый мой оборот всегда на подозрении.

Случалось самое неожиданное: исправленное мною принимали, а мое -- получал назад рукопись. Как это понять, не знаю.»

В Мышкиной Дудочке Ремизов ведет интересный разговор о грамматике с Пантелеймоновым. Про ранние статьи которого Ремизов говорит:

«Все в них было как статьи пишут. Неманов или Пантелеймонов, не различишь. Принес мне показать, как потом скажет, «на злой глаз», отрывок из повести. Написано гладко, добросовестный Муйжель («Русское богатство»). И, конечно, не без «глагольных». В черновиках сам грешу и оттого глаз у меня цепок и беспокоит ухо.

О этих «глагольных» или «подглагольных» в 40-х годах писал А.В. Дружинин, наш «эстетический» критик, тогда еще говорили о искусстве слова.

Эти «глагольные» в стихах не дорого, а в прозе — муть, раствор и жижа. Дьяки XVI - XVII в. любили заключать «глагольными» приговор -- «чтобы впредь не воровать и людей не смущать, бить батогами нещадно». А в «деле» никогда созвучий, крепко в-точь. А в разговоре где и когда вы услышите глагольные? Разве оговорится, и непременно, не замечая того, поправит себя. По «глагольным» узнавали хлыстов и скопцов, а у них по привычке: ритм в накате держится «глагольными». Автобиография Кондратий Селиванова диктует сплошь на «глагольных». Явление «глагольных» книжное: повести пишутся не безразлично, хочется задеть, а дыхания нет, хоть «сглаголю», сойдет.

Я показал (Пантелеймонову) все глагольные в его Повести и как и чем заменить -- фраза получилась куда отчетливей и звонче.

Его очень удивило: в первый раз, никогда в голову не приходило, что он пишет на «глагольных».

— Вы книги читаете глазами — для развлечения, а полюбуйте слово за слово, вот еще и не такое откроете, чем и на чем пишут.

... Есть две грамматики: школьная и неписанная сказа, природной, произвольно складывающейся речи. В книжной можно достигнуть большой выразительности, начиная со «Слова», Макарьевские минеи, классическая литература. В книгах пример сказа -- Житие Аввакума. Но Аввакум проповедник, книжник, и его сказ прослойка живого слова в условную книжную речь.

Где же искать речевые русские лады, не подчиняющиеся правилам грамматики церковно-славянской Мелетия Смотрицкого? Роман Якобсон указывает на Летописи; Обнорский — на Русскую Правду — так далеко в веках и не

поймешь, а есть ли что ближе — послетатарское-русское? Есть, это дьячий язык Приказов. В этой приказной речи никакой книжности, никаких «щей», да и как в деловое загнать витийство — словесность. И еще только не в «художественной литературе» — повести XVII в. написаны по Мелетию Смотрицкому, сказ проникает в историю — Хронограф, в подметные листы Смутного времени. Сказ — живая вода. Никто не говорит: ходить по дьякам, нет, приказная грамота только путь. Это все равно, как в начертании букв, кто говорит паутинить скорописью XVII века? Итти из этой паутины и создавать свой рисунок-росчерк, раз я пишу русскими буквами. Книжную, застылую в книжных формах фразу, надо встряхнуть и в ы г о в о р и т ь и такая фраза зазвучит живо и выразительно.

— Надо переучиваться грамматике.

Эти мои грамматические рассуждения, сказанные не безразлично, я сам опутан школой и рвусь освободиться от «Мелетия Смотрицкого», поразили Пантелеймонова, как когда-то Пильняка. И Пильняк-Вогау упорно переучивал две грамматики и встряхивал фразы.

Пантелеймонов растерялся, как и на «глагольные», в первый раз в жизни слышит: две грамматики, и все, что он привык считать за образец, написано школьной или, как ему на душу упало: «по Мелетию Смотрицкому».

— Я буду не по Мелетию Смотрицкому! — Он не сказал, но все в нем заиграло — и как он собирал свою рукопись и как прощался!

Этот длинный разговор о грамматике — вклад в историю языка. Кроме того, из него особенно ясно, что слово значит в творчестве Ремизова, как играет и переливается в его слове талант. Обычно писатели пользуются языком выученным, как все люди. Ремизов же создает свой язык в процессе литературного творчества. Его слово живет не только вложенным в него смыслом и переживанием, но и своим звуковым качеством. Virtuозность и эксцентричность его стиля происходит от тесной связи смысла со звуком и даже с движением. Потому и нельзя читать его глазами. Его слова часто требуют и голоса и жеста.

У Ремизова чувство ритма и движения наредкость остры.

В его слове есть «пляс». Недаром написал он своего **Пляшущего Демона** так, что критики стали обходить его главную тему. «Танец — пляс — значит вьющийся взлет, вскипающий подплеск хлопанья . . . Душа танца вскипь, взвей . . . поземелица, взвихренный вьюн . . . пламенный вздох кручи» говорит Ремизов.

Того, кто просидел жизнь за письменным столом, или даже в кресле партера в балете, такие слова не возбуждают. Они для тех кого «пляс берет».

В очерке **Дягилевские Вечера** Ремизов пишет о музыке «Блудного сына» Прокофьева, что она «всрыв» и «всхват». Такие слова не читаются глазами, да еще меньше сидя спокойно. Должна метнуться голова на «всрыв», а пальцы дернуться и впиться в ладонь на «всхват». Да и лицо не может остаться маской. Читая такое глазами и получается «шурум-бурум», как назвал Брюсов рукописи Ремизова.

Пример того, как Ремизов умеет «встряхивать» фразы нашла в его рассказе **Савва Грудцын** («Бесноватые») стр. 11:

«И все, что он добыл глазами, воспринял слухом, удержало сердце, закрепила память, вобрав в ум и волю.»

Так арабским словом «Калиллы и Димны» сказывалось о Савве, а по-русски сказать: «научен книгой всос».

Кажется ясно и убедительно для всякого!

Мастер Ремизов и пересаживать принятые выражения в новое положение. Все мы говорим «шапка набекрень»; оно потеряло остроту и меткость образа, приелось, а когда Ремизов говорит «и мозги у него не набекрень» — это уже «встряхнул» старое и вернул остроту.

Не менее языка, озадачивают читателя и литературные формы Ремизова, очень своеобразные, часто вызывающие недоумение. Каюсь, что сама попала на **Мышкиной Дудочке** — интермедии к истории «Сквозь огонь скорбей», даром что числюсь «Кавалером обезьяньего Знака 1-й степени, с золотистой вербой» в книгах Ремизовской Палаты. Взялась я выплести из 26 стр. рассказа Ремизова о Пантелеймонове для журнала 10

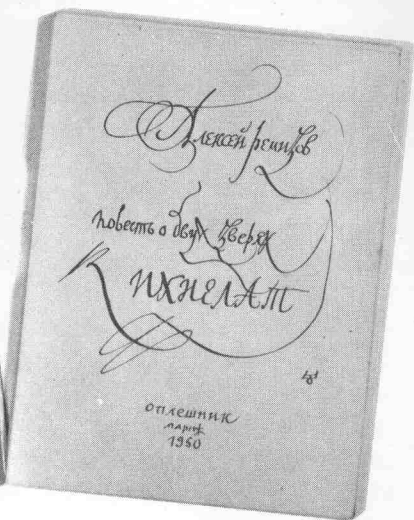
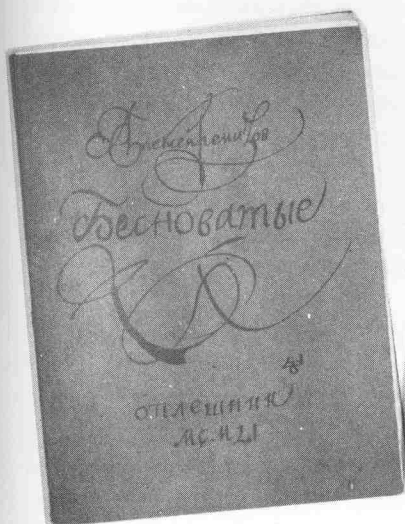
стр. на свой глаз, слух и воображение, то, что показалось «отступлениями» и перегрузкой «домашними подробностями». Алексей Михайлович нрава кроткого, даром, что русский, говорит «делайте как знаете». Он уж примирился с непонятливостью своего читателя. А Леонид Галич (он из непримирившихся) пишет мне: «Писателя можно печатать или не печатать, а трогать его это уж хула на Духа Святого. И чем писатель необычайнее, тем трогать его опаснее. Не приводите эксцентрика в нормальное положение. Сразу улетит все очарованье». Правда, что позже, прочтя рассказ, Галич признал, что операция удалась; Ремизов остался Ремизовым, и очарованье его на-лицо. Конечно ни одной буквы я не изменила, но ухо мое могло пропустить созвучие и тем нарушить ритмику Ремизова. Вина на моей душе все же осталась в сказанных словах о перегрузке «домашними подробностями» и «отступлениями». Поняла это, когда Алексей Михайлович разъяснил мне, что Мышкина Дудочка — новая форма повести, что это «словесно изобразительный court-métrage». И что «никаких нет отступлений и домашних подробностей, а есть лицо нашей бедной, бедующей жизни. Лицо человека выступает из узлов и закрут дней.»

Другими словами «встряхнул» Ремизов не только фразу, но и форму. И, конечно, не только в этом случае.

Ремизову я доверяю куда больше чем своим догадкам, и вот мучает совесть, что хотя одну маленькую «закруту дней» упустила . . .

Тяготела я к Ремизовскому таланту смолоду. Молода была в том Петербурге (в канун Первой Мировой), когда молодость полыхала «наперекором» и на эксцентричность глаза расширялись, а не прищуривались подозрительно. Встреченные в эту раннюю пору Ремизов, Терещенко, Блок, Коммиссаржевская, Евреинов, Пяст, хотя и были в моих глазах «стариками» (каждому из них под тридцать!), олицетворяли возбуждение и взлеты этих дней «задевшие» меня. И потому что задело в раннюю пору, теперь — в позднюю — думаю и пишу.

Ранние книги Ремизова знала, но не вчитывалась в них.



ОПЛЕШНИК

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ, Повесть о двух зверях: Ихнелат.

С иллюстрациями автора. Париж, 1950

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ, Бесноватые: Савва Грудцын и

Соломония. Париж, 1951

Издание в 300 экзempl.; из них 75 - «на поминки»,

2 завитушками и розульками автора.

Некогда было. В юности жизнь не отпускает к чужому. Только коснешься, «заденешься», как отмывают свои личные волнения. Но теперь, оставленные следы, открываются. Когда читала (в прошлом году) **Пляшущего Демона** и писала о нем, почувствовала, что это не «сейчас» прочитанное и не «сейчас» написанное, а задевшее в 17 лет.

То же с **Бесноватыми** (Савва Грудцын и Соломония), полученными на Пасху: сквозь сороколетнюю толщу опыта с чужим и со своим искусством — раннее волнение и влечение всплывает.

Книга **Бесноватые** — жуткая. В ней о «раскованных силах человека». Недаром говорит Ремизов «Долго я не мог войти в жизнь, окончив повесть (1929 г.). Раздумывая над судьбой Грудцына, я не рисовал ни одной картинки. Все началось со слова **кровь** и словами выговарилось до конца. Окончив повесть, долго не мог выпростать голову из-под тяжелого, набухшего кровью покрывала. Потому обложка книги кровавого цвета. В крови этой обложки тушью жуткие графические зародыши бесноватого навождения.»

Канва повести — историческая, но суть фантастична. История у Ремизова не лежит на дне прошлого бездыханно. Как только он ее касается, история — здесь, бьется жизнью. Даже осведомительные исторические примечания и пояснения — не сухи. Сохраняя стиль давнего времени в Ремизовском сказе все передается за-живо.

«Савва Грудцын» — жуткий рассказ людской любви, когда «она вся в нем, с костями, мясом и кровью, и воздушная в глазах, трижды живая». В рассказе открыты и сатанинские силы, и «голубые слезы» и «кукование» юродивого Христа ради. «Пусть и душа продана и руки в крови, но эта зарывавшая боль осветила призрачную пустоту сердца, отравленного любовью». Савва сказал: «Любовью не жертвуют, любовь покрывает и самый грех». Такие слова говорят «лежа навзничь, с потемнелым лицом, закаченными глазами, распухшим прокушенным языком и ртом в пене» бесноватые. От них встают «перед об-

разом Божьей Матери в лучах глаз светящих из глубины пучинных скорбей за весь страждущий мир, за всех нас, не знай за что и зачем бедующих на Божьем свете». Такова суть рассказа о Савве Грудцыне и любимой им и убитой им Степаниде. Ткань рассказа в непередаваемых узорах Ремизовского воображения.

В предисловии к **Соломонии** автор говорит, что «из всех старинных повестей Повесть о бесноватой Соломонии XVII в. — самая демоническая и самая документальная — живая жизнь с живой верой, и только по своему материалу полна фантастики. . . . Даже в том виде, как вышла повесть в обработке попа Иакова, она глубоко символична и через символы дает на многое ответы».

Кто другой как не Ремизов мог бы написать явственно о «злых, блудных мытарствах» подпавшей под власть Яра — голова змия — Соломонии. Об этих «жевластных, кольчатых, отвислых, перетянутых и гладких, и мохнатых, и с бородавками» не дававших покоя бесноватой. И об избавлении Соломонии от нечести, изъятой из ее чрева и раздавленного в бесцветную слизь. О том как смолк в ушах ее шум «и с каким простым, открытым сердцем посмотрела вокруг — ее глаза ручьи, светясь и светя».

О мастерстве и диковинности Ремизова говорят очень много, а о его «глубоком дыханье» — мало. Почему? Ведь только в прошлом году читали в его рассказе **Писец** — **Воронье Перо**: «И разве могу забыть я Пустозерскую гремящую весну, красу-зарю во всю ночь, апрельский морозный утренник, летящих на север лебедей». А мы забыли? И забыли потрясающее сожжение у столбов четырех узников, когда «из замершей тишины, блеснув пополз огонь — жечь» и слова об Аввакуме «Не гнев и укор, в его глазах горела восторженная боль»? — Нельзя забыть. Захотелось напомнить, раз веду разговор о Ремизове.

Александра Мазурова
Флорида

Белый Сокол (Киргизская степь)

Хочешь старого киргиза послушать? Много я хорошего про старое время помню... Старый век — хороший век был. Новый век? Новый век потом тоже хороший будет. Это уж всегда так. Каждый свой век хвалит. И новый век внукам старики хвалить будут... Так, хочешь слушать? Слушай!

Давно это было... Эх! жалко музыки нету! Под музыку я, ах, хорошо спел бы... Вот новый век: музыки нет. Табаку нет... Пой, как знаешь! Пожалуйста, давай папироску! А мы петь будем.

Давно это было... Тогда еще царствовал Ак-Падишах* в России... Это было как раз, когда убили районного Михайлова... Да! Михайлова убили Араслан-бай с заезжими киргизами. У окошка у себя за столом сидел. И они его в окно из охотничьего ружья, из обоих стволов... На месте положили над бумагами. И, ах, хороший начальник был! По нашему говорил как настоящий киргиз. Переводчика не надо было. Переводчик что? Сколько переводчику дал, столько и переведет переводчик... А нас, киргизов, не давал в обиду Михайлов. Закон царский знал. Закон киргизский знал. Всем по закону делал. За что убили?

Убили Михайлова злые люди. Не давал Михайлов Араслан-баю разматывать мужикам киргизскую степь. Араслан-бай тогда волостным старшиной сидел. С русскими мужиками дружил. За водку, за хороший бакшиш и приговора, бывало, добьется и земли, что мужики присмотрят, мужикам подпишет. Задаром отдавал киргизскую землю... Да, это дело прошлое. Давно было.

* Ак-Падишах — Белый Царь.

Так, про что ж я говорил? Вот уж и позабыл. Ах, старость, старость! . . . Да! Вот: про Исета с его соколом вспомнил. Хороший Исет человек был. И сокол хороший. Большая была птица. Весь белый. А глаз желтый. И ноги желтые.

●

В тот год, как убили начальника Михайлова, на степи Аллах несчастье наслал. Под осень, под самой зимой, по аулам черная болезнь объявилась. Говорили — оспа. Черная оспа. Всё может быть. Может быть, и оспа . . . По кибиткам пошел народ валиться. Тут хозяин умер. Там ханым померла . . . Там детки позаворотили — как чумные, по кибиткам ползают . . . На Айшэ* в две недели никого в живых не осталось. Черная болезнь на Джасай перешла. С Джасая на Джаныбай бросилась . . . Много тогда киргизов кончал.

Русский доктор захлопотал. Оцепили степь. Лечить принялись. Ну, да это напрасно. Кого Аллах пометил — лечи, не лечи, — не поможет. Посмотрели наши киргизы. Уходить надо. Все бросать надо. И кибитку, и кошмы, и ковры, и сундуки, и посуду, и всех больных — всё бросать надо. Старики? Стариков бросай. Жена? Жену бросай. Детки? Деток бросай . . . Жалко. А — бросай!

Здоровые ушли. Подальше откочевали. За Мугоджары, за Большие Барсуки песками ушли. И скотину с собой отогнали. А собак перебили. Собака за хозяином всегда побежит. Черную болезнь на новые места за собой натащит. Оттого и побили.

В оставленных аулах только смерть да больные остались. Русский доктор — доктор хороший. По аулам ездит, больным помирать помогает. И к зиме больные аулы все вымерли, и русский доктор всё сжег. И мертвых сжег. И все кибитки, со всем добром, сжег. И вокруг аулов всю степь выжег . . . Хороший доктор.

●

* Айше — одно из б. озер Тургайск. области.

О ту пору отец Исета -- Сеид-Магомет -- на больших Тенгизах стоял. Богатый был. Хозяин. И роду хорошего был. Ак-Суэк.* Голов шестьсот лошадей гонял. Овцы были. Верблюды были . . . Сам с семьей. Да работники. Восемь кибиток стоял. Добра и денег у Сеид-Магомета довольно было. И дети у Сеид-Магомета были здоровые, хорошие. Отцу помогали.

И приехал к Сеид-Магомету как-то раз байгуш. Русские говорят — нищий. Приехал. И черную болезнь с Айшэ притащил, и сам у Сеид-Магомета умер. Одна пегая кобылка после него осталась. Схоронил байгуша Сеид. И камень поставил. И пегую кобылку в табун пустил. Всё сделал . . . А через неделю у Сеид-Магомета по всем кибиткам черная болезнь гуляла. Захворал народ. В табун съездить некому стало. И начали у Сеид-Магомета валиться и домашние, и рабочие. И старые, и молодые . . .

Крепился Сеид. Верить не хотел, что Аллах его кибиткам конец посылает. И сам захворал. И видит, что конец пришел. И смирился пред волей Аллаха и помирать собрался.

И осмотрелся: всех-то, видит, здоровых у него в кибитках один Исет остался. А Исету тогда бло семнадцать лет. Здоровый, румяный, крепкий малайка был.

И жалко стало Сеид-Магомету Исета. Позвал он сына. Вот! говорит, Исет. Все наши кибитки кончал. А ты, говорит, здоровый. Бери, говорит, ты, пожалуйста, из сундуков всю одежду новую. Сундуки новые никто не трогал. И новую одежду никто не носил . . . Бери, говорит, пожалуйста, и мой парчевый халат, что мне на коронацию в Москве Сам Ак-Падишах подарил. Я, говорит, надевал его три года назад, как выборы волостные были . . . Халат чистый, здоровый. И иди, говорит, ты в степь. И снимай, пожалуйста, всё, что на тебе есть. Ничего не жалея. И надевай всё новое, здоровое. А сундуки бросай! И бери все деньги, что у меня есть. И отгони скотину и уходи подальше. Что дальше, говорит, уйдешь — то лучше будет . . .

* Ак-Суэк — белая кость.

Пожалуйста, говорит, гони! Ничего не жалей. На новой степи новую кибитку поставишь. И сюда, на Тенгизы, не ворочайся . . . Года через три побывай. Тогда всё чисто будет. И заплакал Сеид-Магомет и с Исетом навсегда попрощался.

Вышел из кибитки Исет . . . Послушный, хороший сын был. И всё сделал, как отец ему приказал: перебил всех собак у себя на стойбище. И в степь вышел. И старую одежду сбросил и надел всё новое. И отогнал скотину подальше и большими переходами на новые места погнал, на здоровую степь. И сохранил его Аллах. Не захворал, и, через неделю-другую, был уже далеко.



Хороший сын был Исет. Ну, молодой, да глупый. На новой степи поставил он себе новую кибитку. Обзавелся. Деньги от отца ему достались хорошие.

И привольно ходила у него скотина и табун на новых пастбищах. Ну, трудно было одному со всем управиться, молодому мальчишке. И нанял Исет себе работника, байгуша-бедняка, киргиза Османа. Старый был киргиз. И хорошо знал степь и все речки, колодцы и водопои.

И зажили они вместе.

Вот и говорит как-то раз Исету Осман: — Не хорошо, Исет, уходить надо.

— Зачем уходить.

— Плохой зима будет, говорит Осман. По всем приметам, куян-год* будет.

— Нет! говорит Исет. Нынешний год шестой. Куян-год прошел незаметно.

— Нет! отвечал Осман. — Год ныне пятый. Сам увидишь,

* Куян-год — заячий год. Голодный год в степи.

Периодически — из 4 в 5-ый, или из 5 в 6-ой — в Азиатской степи выдается зима с дождями и оттепелями. Степь-пастбища покрываются ледяной коркой и тебенюющая (пасущаяся и зимой по снегу) скотина не в состоянии отрывать траву под этой коркой.

как скотина падать начнет.

Не послушал Османа Исет и зимовать, где стоял, остался.

Наступили холода. Снегу долго не было. Табун ходит у Исета жирный, веселый. Вся скотина в порядке.

Подыскал Исет по-над речкой пещеру хорошую. Овец загонят туда начал.

— Видишь! говорит он Осману, — правду я говорил. Не пятый, а шестой год с последнего куян-года пошел . . .

Покачал головой старик. — Меня слушать не хочешь — посмотри на соседей. Все уходят, Исет, подальше. К горам уходят. Под горами, на юге, теплее. На юге куян-год не страшен.

— Пускай уходят! засмеялся Исет. — Нам же привольней здесь будет.

И ушли все соседние киргизы. И Исет с Османом одни на всю степь остались.

И выпал, наконец, снег. И тепло и мягко покрыл всю землю. И богатая трава, что с осени не травили табунами и берегли под тебеневку Исет с Османом, — легко далась под копытом. И широко разбрелся табун по снежной степи и дружно и весело пошел за табуном рогатый скот и верблюды, и овцы за ними.

Обросли кони зимней шерстью. Сытые, мохнатые по зимнему солнышку ходят. Ночью, сбившись в теплый комок, переставают за ветром, под берегом на речке. Ровно держится погода. Ни больших холодов, ни ненастной оттепели не было.



Прошел месяц-два. У Исета овцы ягниться стали. В пещере хорошо овцам. И радуется Исет, что никуда не ушел с хорошего зимовья, на людей глядя . . .

Как-то ночью вышел из кибитки Осман. Видит — всё небо обложило тучами. Низко идут тучи. Тепло стало?

Помуслявил палец Осман. Кверху поднял. Не сохнет палец! Дождь будет. Оттепель будет, подумал старик. И пошел, разбудил Исета.

— Вставай, говорит, ака!* Дождь будет. Идем загонять кобыл да жеребят в пещеру.

Всю ночь провозились с табуном Исет с Османом. На рассвете пошел мокрый снег. А там и еще потеплело. И крупным, проливным дождем изрешетило снегом покрытую степь, и ручьями побежала вода по скатам в речку.

Ничего не стал говорить Осман Исету. Дня два шел дождь попеременно со снегом. Лед на речке почернел и вздуться начал. Сама речка подыматься стала.

— Уходить надо! сказал, вернувшись из табуна, Исет.

— Поздно, сказал Осман. — По такой погоде ярок с ягнятами не выгонишь. Да и через речку теперь скотину перегнать трудно.

Однако, на утро перегнали они скотину за речку. Ягнят на руках таскали. Кое-как сами снялись и по дождю к югу, к горам, погнали.



Шибко гнали. Ни себе, ни скотине роздыху не давали. Трудно было. Вся степь водой пошла. На низких местах озерами вода стала. Прямоком гнать нельзя. Идут по буграм, обходами, по высокому месту. Да по буграм травы немного. И от ветра негде укрыться. И пошли дохнуть овцы. В два-три дня ягнят не осталось.

А через неделю ударил мороз. Заковало всю степь. Выглянуло солнце. Засверкало все кругом ледяной коркой. Смотреть больно было.

Заковало на овцах мокрую шерсть. Дыбом стал на табуне мерзлый волос. Заревели верблюды под набухшими, промокшими кошмами . . . Насилу сняли с места примерзлую кибитку Исет с Османом и, не оглядываясь, погнали дальше. Шибко торопились. Голодно скотине стало. Лед по всей степи толстый, крепкий. Бьются кони. Копытами в землю стучат, на колени

* Ака — брат.

падают, зубами лед гложут . . . А мороз все крепче. Ветер поднялся. Сухой да холодный. Стынет голодная скотина. Овцы замерзают, падают . . . Вскочат Исет с Османом и опять дальше гонят. На ходу, согрившись, скотина первое время еще кое-как держалась.

Скоро не стало овец у Исета. А там начали валиться и рогатые: всю степь за собой скотиной устлали Исет с Османом. И кружатся степные орлы да голодные грифы над падалью этой, да клекотом душу надрывают обоим.



На пол-переходе пала у Исета его старая, большая верблюдица, что под вьюком ходила. Сняли с верблюдицы кибитку Исет с Османом. И седло сняли. И давай все на другого верблюда перевьючивать. И видать: камнем с неба упал гологоловый гриф на палую верблюдицу. А за ним — как молния сверкнув в небе — на ту же верблюдицу опустился большой, белый сокол. И подняли птицы драку — только перья полетели во все стороны.

Задивились Исет с Османом. И сокола такого они белого на степи никогда не видали, да и случая не было, чтобы сокол на падаль польстился? А драка промежду птиц все пуше! Обе кровью обливаются. Но один другому уступить не хочет . . . Подбежали к птицам киргизы. Сокола халатом накрыли, а грифа камчами* забили.

И тяжел, и велик оказался сокол. Трудно было с ним сладить. Ну, сладили. И дальше погнали.

Через день-другой заметно теплей стало. Далеко отошли киргизы со старого стойбища к югу. Уже высятся перед ними далекие, крутые горы и темнеют их ущелья и долины . . . Мерзлая степь на глазах оттаивать стала. И набросилась на корм голодная скотина. И выбрал Исет местечко. И поставил кабитку. И за много дней дал роздых и себе, и Осману.

* Камча — нагайка.

Богатым вышел Исет, а на новые места пришел бедняком. От богатства у Исета голов до ста коней осталось да три верблюда. Ни овец, ни рогатой скотины не осталось вовсе.

И распустили на приволье табун Исет с Османом, а сами сидят в кибитке. Сидят и горюют . . .

И подъехал к ним проезжавший степью мулла и зашел в кибитку: посмотреть, что за новые люди издалека прикочевали?

И нечем было Исету этого муллу встретить. Ни соусу, ни молока, ни барана . . . Одного мяса довольно было: накануне последнюю корову, что бросили на степи за два перехода до стойбища, дорезать пришлось. Ну, мясо и было.

Накормил Исет мясом муллу. И разговорился мулла с Исетом. И узнал про все несчастья Исета: и как черная болезнь на тенгизах у него родных унесла; и как вся скотина на ходу пропала.

— Иншалла! говорит Исету мулла. Бывает . . . Ну, помни, говорит, Исет: на этой степи ты чужой. На степи на этой тебе части нету. Наша степь вся ходит под нашей ордой. И хозяин, говорит, на нашей степи — Богадур-хан. Хан богатый, сердитый . . . Одних коней тысяч до тридцати гоняет . . . На своей степи, говорит, Богадур-хан чужому тебеневать никому не даст . . . И ты, говорит, отдохни, Исет, а потом гони дальше . . .

— Да, куда же, спрашивает Исет, мне дальше-то гнать?

— В горы гони, Исет, говорит мулла. Горы — место свободное. Все чужаки в горах тебенюют.

— Не привычны мы в нашей орде к горам, говорит Исет. — Я гор не знаю . . .

Подумал мулла. — Тогда, говорит, ступай прямо к самому Богадур-хану. Поклонись. Проси, чтобы он тебя на своей степи не тронул. Человек, говорит, ты молодой. Сирота. Расскажи хану про свои несчастья. Хан — человек сердитый. Но, спра-

ведливый . . . Может быть, и поладить придется?



Встал Исет муллу до коня проводить. И увидел мулла на жердочке у входа в кибитку белого сокола.

— Откуда, спрашивает, у тебя, Исет, эта птица? Сокол этот, говорит, с далеких, Алтайских гор. Нет таких в стороне нашей . . . И стал мулла сокола разглядывать. И увидел, чего не заметили Исет с Османом: ноги у сокола пообтерты, — значит, путцы носил . . . И осмотрел мулла сокола со всех сторон и в перьях, на хвосте, медное колечко нашел.

— Дорогая птица! сказал мулла. — Охотничья птица. Выношенная. И колечко это от бубенчика. Бубенчик у сокола в хвосте был . . . И как, удивляется, она к тебе попала, Исет?

Рассказал Исет мулле, как на палую верблюдицу сокол с грифом гологоловым упали, как они с Османом того грифа камчями забили.

Покачал мулла головой. Не знаю, говорит, Исет . . . То ли тебе сокола этого Аллах на счастье послал? То ли с этим соколом новое несчастье для тебя будет? Не дано, говорит, людям наперед знать волю Аллаха!

И научил мулла Исета. — Сокола, говорит, этого ты, Исет, три дня и три ночи не корми вовсе. И не давай заснуть ему ни на мгновение . . . И тогда, говорит, бери ты сокола пораньше сонного на рукавицу и на конь садись. И езжай в степь. И голодный, усталый сокол хозяина в тебе признает. И будут, говорит, вскакивать зайцы. И ты, говорит, зайцев тех не трави. Подожди, чтобы лиса взметнулась. И тогда поднимай, говорит, ты сокола на рукавице повыше и скидай ему путцы и колпачек. И дальше все сам увидишь.

А как примешь, говорит, ты, Исет, лисицу из-под сокола, — вынимай у лисицы печенку и соколу брось. И поест сокол печенки и повеселеет. И с тобой подружится. А в хвосте, говорит, ты ему непременно бубенчик пристрой. По бубенчику

всегда услышишь, где если сокол с добычей да в крепком месте сядет.



Как говорил мулла, так Исет всё и сделал: и бубенчик нашел, и к колечку соколу в хвосте пристроил, и путцы, и колпачек справил. И к Богадур-хану поехал.

Далеко, под самыми горами, на ущельи, зимовник, на речке был у Богадур-хана. Хороший зимовник был: и курганча* большая, и кругом клеверные поля поливные . . .

И приехал Исет к хану и застал у него народу много. Богатый народ. И орда кругом все незнакомая. Чужая орда.

Потолкался промежду народа Исет и к хану прошел.

И увидел Богадур-хан человека незнакомой орды и расспросил Исета. И Исет ему весь свой род сказал и орду назвал.

-- Ага! говорит хан. — Ак-суэк! . . . И посадил Исета с гостями. И ел и пил у хана с гостями Исет. И наелся. И встал. И поклонился хану.

Удивился Богадур-хан. — Что тебе надо? спрашивает. И просил себе части в чужой орде у хана Исег. И рассказал, как он дома сиротой остался и как разорил его Аллах.

Чмокали кругом гости. Головами качали. Жалко им было молодого Исета.

И расспросил хан Исета: нет ли у него паршивой в табу-не скотины? И узнал, что нет у Исета в табу-не паршивых, и что всего на всего у него до сотни коней осталось да три верблюда, а овец и рогатого скота не осталось вовсе.

И сказал хан Исету: — Не могу я тебе, чужому, дать части в нашей орде. Ну, как ты сам не потаился со своей скотиной, а пришел сказать, что прикочевал на чужую степь, --

* Курганча -- глинобитная, из саманного кирпича, постройка: обнесенный высокой стеной двор, с надежными воротами. Направо и налево вдоль стен жилые помещения. В глубине — конюшни для особо сберегаемых, любимых лошадей. Кровли плоские.

оставайся на моей степи, в моей части. Пусть, говорит, твоя скотина в моей части ходит . . . Ну, ходи, говорит, подальше. И из-под моих табунов степь не вытравливай. И на водопой, говорит, мои не ходи . . . И пожелал Богадур-хан бедняку Исету, чтобы Аллах ему хороший приплод на новом месте послал, и подарил ему на разживу тридцать овец, да десяток рогатых.

— Поправишься, — меня вспомнишь, сказал Богадур-хан Исету. А понадобится, пожалуйста, помогай, чем можешь . . . И отпустил Исета.

И хорошо зажил Исет на ханской степи. И не травил степи под ханскими табунами и на водопой его не гонял. И помогал, где нужно: вдвоем с Османом камыш рубили, на зимовник ханский возили. И пропалых коней по предгорьям хану разыскивал. И купцов ущельем на перевал провожал в горы. И хан Исетом доволен остался.



Мулла Исету правду сказал: дорогой, выношенный ему сокол достался. Три дня и три ночи промучился с птицей Исет — на руке, на рукавице носил. И спать не дал ему ни на мгновение. Оба — и сокол, и Исет с ног валились. На третьи сутки сел на конь Исет и в степь поехал. И зайцев, что вскакивали, не травил. И взметнулась из чилизника пред Исетом лисица. И высоко поднял на рукавице птицу Исет. И снял колпачек. И путцы сбросил.

И встрепенулся сокол. И взвился высоко-высоко . . . И остановил своего горбоносого мерина Исет и смотрит: высоко в небе распластался сокол и сторожко застыл на месте. И спозрел лисицу. И шевельнулся. И — как стрела — за лисицей по косой ударил. И прямо в голову лисице вцепился.

Помчался вдогонку Исет. Подскакал. Мертвая лисица лежит. Белый сокол у лисицы на голове сидит и глаза лисице уже выклевал . . . Свалился с коня Исет, накрыл сокола колпачком и путцы надел. И на луку посадил.

Ощерилась голодная птица и в луку вцепилась. Взял в руки мертвую лисицу Исет: весь череп раздавил ей сокол своими когтями!

И накормил Исет сокола печенкой. И угомонилась птица и повеселела. Об Исета головой трется и перья на себе чистит.

Второчил Исет лисицу и дальше поехал. До ночи ездил. И четыре лисицы в тороках привез Осману.

Правду сказал мулла: дорогая, выношенная птица Исету досталась. Лисьи черепа, как орехи, когтями давила.



За охотой сдружились Исет с соколом и не расставались больше. Каждый день выезжали на степь. Всю кибитку обвесили Исет с Османом заячьими да лисьими шкурами. И вся степь про белого сокола заговорила.

А тут скоро и весна подошла. По озерам, речкам налетела дикая птица. От лебяжьего, гусиного, утиного крику порой перемолвиться трудно было: за птичьим гвалтом друг друга не слышно . . .

И дикую птицу бил без промаху белый сокол. Бурей врывался в утиную стаю, и, как подрезанные, валились с высоты серые крейвы . . . Ни лебедям, ни гусю не давал сокол спуску. Как ножом, черкнет когтем под бок громадную птицу, и гулко падают в камыши грузные туши, поднимая брызги . . .

С журавлями сокол шутил другие шутки. Журавля сокол сверху не бил. Журавль и сам умеет во время свой крепкий клюв подставить. С журавлями у сокола другая повадка была: расстроит, бывало, сналету сокол станицу по одиночке и начнет журавлей мучить. То сверху, то сбоку подкидывает, вокруг кружится. И обезумев журавль и растеряется и начнет бросаться во все стороны. И выберет сокол мгновение, и поднырнет у журавля под брюхом, и камнем летит долгоносый красавец, распластавши крылья. Валяются внутренности из распоротого брюха. И сидит сокол в высокой осоке над своей жертвой и рвет и глотает дымящиеся кишки . . . И лазят по

камышу Исет с Османом, подбирая добычу, и прислушиваются к звону бубенчика, чтобы принять птицу и самого сокола спутать.



И прослышал про белого сокола Богадур-хан. И призвал Исета. И спросил. И захотел сам с Исетом выехать на охоту, на сокола в поле полюбоваться.

И ездили они вдвоем день целый. И не мог насмотреться Богадур-хан на ловкость и проворство смелой и жадной птицы.

И предлагал хан Исету за сокола большие деньги. И не захотел денег Исет. И давал ему хан лучшего жеребца из табунов своих. И не взял жеребца Исет. И в ярости давал ему хан до тысячи овец за сокола. И на овец не польстился Исет.

И, разгневавшись, выгнал вон Исета Богадур-хан и безвыходно засел у себя в кибитке. Ото сна и пищи отшибло хана. На своих на соколов и смотреть не хочет. Стоит у него перед глазами белый сокол Исета. И гложет его зависть. И не дает покоя.

И позвал Богадур-хан муллу, что когда-то первым Исета на перекочевке встретил. И отправил муллу к Исету.

— Скажи, приказал Богадур-хан муле, — чтобы собирал Исет свой табун и уходил подальше... Если я увижу, говорит, Исета -- я могу его крепко обидеть. До смерти убью, просто. Потому что смущает меня шайтан и не дает мне покою белая птица Исета... Лучше будет, если он с нашей степи уйдет подальше. Я, говорит, тогда сокола позабуду и Исета не обижу напрасно... Я, говорит, мулла, Аллаха боюсь. И Исета-сироту жалею...



Нашел Исета мулла и все в точности пересказал Исету.

— Пожалуйста, уходи! Богадур-хан -- человек богатый, сердитый... Но справедливый. Он Аллаха боится и тебя жалеет, — говорил мулла Исету. — Собирай табун и иди в горы.

Горы ты теперь знаешь. Иди на Чалдавар.* Через Чалдавар на Талас выйдешь. Гони табун через Талас и иди степью до других гор. И дойдешь до Ур-Мурала — речка там холодная, хорошая — и иди по Ур-Муралу дальше . . . Там и пастбища хорошие и людей не много. Хорошо тебе будет.

— Что ж, думают Исет с Османом. — Сейчас весна. Итти хорошо. Позаместо кузеу* на Чалдавар выйдешь. А в новых горах на все лето на джаллу останемся. Там приволья много . . .

— Поторапливайтесь! сказал мулла. — В горы за Таласом как раз во время поспеете: зацветут маки. А маки отцветут — прямо на джаллу и выйдете.

Поблагодарил муллу Исет. Проводил честью. И сблизил-собрали они с Османом табун и на Чалдавар потянулись.



И пришли Исет с Османом на Ур-Мурал. И уперлись в дикие, крутые горы. И испугались. И с непривычки итти в горы дикие не захотели.

Распустили они табун по долине, а сами поднялись на

* Чалдавар — перевал в Александровск. хребте со степной равнины в долину реки Таласа. За Таласом поднимается следующий хребет — Таласское Алатау. Ур-Мурал — проходимое постоянно ущелье, с речкой того же наименования, ведет на плоскогорие Сусамыр, славящееся своими пастбищами.

* Кузеу и джаллу — два термина, определяющие 2 момента в жизни кочевого киргиза. С наступлением весны первый выход с зимовья на свежую степь называется кузеу. Обычно на нов. месте остаются довольно долго, чистясь после многомесячной зимовки, поправляясь на первом кумысе и давая сил набраться отощавшей семье и скотине. Цветением маков, покрывающих своим желто-огненным покровом все скаты гор и долины, киргизы любят из года в год. Отцветшие маки определяют момент выхода на летовку — хроническое кочевье до холодов, когда киргизы переходят с места на место, по мере вытравливания скотиной травяного покрова. Летовка с постоянными передвижениями называется джаллу.

скаты и поставили себе кибитку на просторе. О ту пору на Таласе привольно было. Вся долина под ордой ходила. Не было в ту пору немцев-колонистов на Таласе. Не было ни русских по долине . . . И дождались на своих высотах молодой Исет со стариком Османом, как вся степь под ними на долине красным маком дружно запылала. Как огнем, зарделись скаты и ущелья по Таласу. Никогда такой красы перед глазами не видали дальние, тургайские киргизы . . .

Со своей кибитки на высотах оба морем красным любовались. День деньской кумыс душистый пили — удивлялись щедрости Аллаха, что на радость людям посылает этакое чудо.

По соседству с их кибиткой одинокой много и других киргиз прикочевало. На кузеу, как Осман с Исетом, вышли со своими табунами и аулами по склонам повставали. И никто не обижал Исета. Места было по Таласу много.



И вот как-то утром — ранним рано — увидели чужаки, Исет с Османом, как вся степь, до самого Таласа, заперестрела конными толпами. Разодевшись, словно на великий праздник, отовсюду едут конные киргизы.

Сбегали в табун Исет с Османом. Поседлали коней зажиревших. Взял Исет на луку свою птицу и спустились оба на долину. Там к большой толпе вдвоем пристали и с ордой смешались незнакомой.

Завернувшись в пестрые халаты и поджавши ноги на стремянах, едут важно бай-аксакалы. По-за ними молодежь теснится, шеголяя дорогими туменями,* седлами, камнем залитыми, сбруей под серебряным набором.

Дружно топают некованные кони по приречной гальке по Таласу, горячась, мотают головами. Щелкают нагайками ордынцы, меж собой смеясь, перекликаясь . . .

* Тумень — содержимый дома, у кибитки, любимый (а прежде — боевой) конь у киргиза. Конь-лошадь называется "ат".

Допытались у людей Исет с Османом: Тамаша, веселый праздник будет. За Большой Капкой, ущельем тесным, где Талас выходит на равнину, на степи открытой и широкой схоронен батырь ордынский знаменитый... И по-над могилой богатырской этой самой каждый год справляют шумный праздник всей ордой таласские киргизы. Скачки будут-сабантой, на скорость. И с козлом — на ловкость и проворство: друг у друга рвать из рук козла ордынцы будут, на скаку добычу отнимая... А кумыс и жареных баранов обещают бай-аксакалы.



Весело едут с ордой Исет со стариком Османом. Беззаботно помахивает камчой Исет и гладит сокола по жестким крыльям. Весело трется об его халат довольная птица.

За Большой Капкой остановились всей ордой киргизы и полезли на крутые скалы. Каждый от халата оторвал по лоскутку цветному. Каждый свой лоскут развесил по колючкам, по деревьям, что по скалам лепились: святое место Капка! Всякий путник на Капке всегда с коня слезет и лоскуток повесит, чтобы видел с неба Аллах, что люди Его всегда помнят, и чтобы Он Сам не позабыл людей хороших...

И повесили свои лоскутки и Исет с Османом и по-за ордой на степь из ущелья промчались. И увидели на степи Исет с Османом высокую молушку-мазар из сырца-кирпича, что от древних веков по-над могилой славного батыря стояла.

И вокруг молушки увидели большую толпу. Много сот народу разодетого, веселого вокруг мазара столпилось.

Большим кругом у молушки старики расселись: ханы, бай, муллы, кади, волостные судьи... А в сторонке, за толпой нарядной, разодетой, на кострах котлы дымятся подвесные. От котлов горячим салом потянуло. И смешался запах жирного пилава с крепким запахом степной полыни и конского пота... И привстали на стремянах Исет с Османом и засмеялись: крепко и приятно ударил им этот запах в ноздри.

Далеко разбрелись по степи поседланные, отпущенные попасть кони. Стреножили и своих коней Исет с Османом. И отпустил путцы своему соколу Исет подлиннее. И снял ему с головы колпачек и оставил на луке умную птицу. Сам знаешь: никому не даст подойти к коням хороший, выношенный, охотничий сокол, если только ему колпачек скинуть. Глаза выбьет. Лицо обдерет. За грудь схватит.

И отогнал Осман коней в степь, подальше.



Хорошо прошел праздник. Сабантой был. Двадцать верстов скакали. Джантюрик-бай с Бодредзин-баем боролись. Знаменитые силачи были... И верблужий той* был. С ревом бились верблюды. Смотреть страшно... И кумыс был. И много баранины, палау* было... И вперегонку молодежь бежала. И цветные платки аксакалы молодежи дарили.

А на скачках первым серый Кок-Кашка Богадур-хана был. И любовалась вся орда на него и большие деньги Богадур-хану за него давали. По рукам хлопали. Лошадь просили. И не отдавал Богадур-хан Кок-Кашка. Конем гордился.

И увидал в толпе Богадур-хан Исета. И подозвал. И расспросил. И похвалил Исета за то, что на той приехал. И спросил, где его белый сокол? И отвечал Исет, что его сокол с конями, на луке, остался. И потемнело лицо у хана. И опять шайтан его смущать начал. И стал Богадур-хан опять предлагать Исету и деньги, и баранов за сокола. И лошадей давал. И верблюдов давал... И ото всего отказался Исет.

— Бери за сокола Кок-Кашка! закричал, наконец, в ярости Богадур-хан. — Во всей орде нет такого коня... По всей степи, по нагорьям нет лошади лучше!...

И удивилась орда, что отдает Богадур-хан за птицу своего Кок-Кашка молодому мальчишке. Не знали на Таласе,

* Той — состязание. Сабан-той — скачка.

* Палау — плав.

чего белый сокол у Исета стоил.

И покачал головой Исет. И не захотел отдать сокола за бесценную лошадь.

И прогнал его Богадур-хан с глаз долой. И обступила Исета орда — уговаривали Богадур-хана почтить и сокола отдать ему согласиться.

И трудно стало Исету отвечать пред стариками. И отошел он в степь. И поймал коней. И накрыл колпачком своего сокола и с Османом обратно, к себе на Талас, поехал.



И проехали Исет с Османом опять Капку и свортели в сторону и под самым хребтом, на скалах в ущельи заночевали.

На рассвете первым Осман проснулся. И увидел Осман, что по-над ними всю ночь ночевал, на скалах повыше, черный ворон. Не понравилось это Осману. И замахал Осман полами халата и хотел прогнать прочь черную птицу.

Ну, высоко расселся ворон и даже не пошевелился.

— Черный птица — нехороший птица, подумал Осман. — Падаль, смерть чует . . . И разбудил Исета. И поседлали они коней и собрались в дорогу. Посмотрел украдкой Осман: и ворон поднялся за ними и высоко распластался в небе.

Ничего не сказал Исету Осман. И оба начали со скал к Таласу спускаться.



И услышали Исет с Османом, что за поворотом в ущельи много лошадей топочут. И увидели скоро: Богадур-хан со всей своей ордой на Кок-Кашка едет.

И остановил коня Исет. И Богадур-хану селям сделал.

И узнал Богадур-хан Исета. И белого сокола рассмотрел. И помрачил шайтан разум Богадур-хану.

— Аллах видит, Исет, я тебя не искал! закричал он Исету. — Говорил я тебе — не попадайся! И налились кровью

глаза у Богадур-хана и ударил он камчой Кок-Кашка и наскочил на Исета.

Бирк бул! Бирк бул,* Исет! закричали киргизы. Да поздно было. Со всего размаха всадил свой кривой нож Богадурхан Исету в сердце. И свалился Исет в густой чилизник. А А его горбоносый мерин в степь помчался. И вцепившись в луку и пригнувшись, белый сокол расправлял свои крылья на бешеной скачке.



И не оглянулся на убитого Исета Богадур-хан. Он ударил Кок-Кошка камчой изо всей силы и догонять коня Исета пустился. И догнал скоро. И поскакал рядом. И перегнулся над пустым седлом Исета и схватил белую птицу.

И со страхом увидели Осман и вся орда, как сбил Богадур-хан у сокола колпачек и как сокол когтями в лицо Богадурхану вцепился. И взмахнул хан руками и начал отбиваться от птицы. И на беду на свою сшиб ей путцы. И на всю степь закричал Богадур-хан: опрокинул его навзничь сокол. И понес Кок-Кашка Богадур-хана. Всей ордой бросились ловить их киргизы. Один Осман над убитым Исетом стоять остался.



Долго гонялись за Кок-Кашка киргизы. Не сразу удалось заарканить знаменитую лошадь. А когда закинули ему на шею укрюк,* белый сокол взвился высоко-высоко.

Богадур-хана мертвым с седла сняли. Все лицо разорвал ему сокол своим острым клювом и глаза ему выпил.

Аксакалы, баи, судьи — вся орда — головами качали. Все увидели, как шайтан разум замутил Богадур-хану. И все Исета жалели.

* Бирк бул — Держись! Берегись!

* Укрюк — тонкий шест с ременной на конце петлей, в роде удочки. Набросив петлю, укрюк начинают поворачивать. Петля стягивается и душит пойманное животное.

Там же, на степи, на Таласе, — обоих схоронили рядом. По-над Богадур-ханом поставили большой белый камень. И Исету камень. А за то, что Исет своей птицы за богатство хану не отдал — всей ордой Исета на Таласе и сейчас помнят. На его могиле три колья воткнули с конскими хвостами — чтобы знали все, что там, под бунчуками, не простой киргиз лежать остался, а батырь и человек хороший.

А сокол? Сокол долго вился по-над местом, где Исета тогда убили. А под вечер начал забирать все выше и выше. И когда поднялся над горами — шевельнулся и повел крылами, и пошел кругами уходить к закату. И промежду тучами скоро скрылся. Всей ордой за птицей смотрели киргизы. Чмокали, тужили, да головами качали.

Правду Исету сказал мулла: нельзя наперед знать волю Аллаха.

В. И. Зверев

Доморощенный

Жара. От солнца и воды полиняли детские головёнки: почти сплошь стали белыми. Травы погорели. Ступишь на леду — хрустит. Отошали обе речки — Самарка и Гранка. Впереди — страшное. А сейчас — тишина и зной. Порой закружится спираль тонкого смерчика, суетливо-самоуверенно пробежит по дороге, свернет в сторону, растеребит соломенную крышу и опять тишь и огонь с неба.

В голубой горнице можно дышать: окна коленкоровыми шторками завешены, гладкий крашенный пол холодит босые ноги. Шагаю из угла в угол и твержу: «Скажи мне, ветка Палестины».

В переднем углу «Спаситель» и «Божья Матерь» — большие, простые, дешёвые — на базаре куплены. Над ними полотенце — длинное, концы крестом вышиты: узор елочками и петухами.

На столе перед зеркалом книжки и тетрадки. Скоро решится моя судьба: коль сдам экзамен на пятерки, буду учиться, а нет — придется, как старшим братьям, стать крестьянином, маляром, кровельщиком.

На протенке отрывной календарь с цветной картинкой царской семьи. Все красивые: и царь, и царица, и четыре дочери в розовых платьях и наследник в белой матроске. День клонится к вечеру, можно сорвать сегодняшнее число. На другой стороне стихотворение: «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат» . . . Никогда не читал. Одна строка лучше другой. В груди жарко от радости и удивления. Хочется перед кем-то излиться. На улице играют малыши, поднимая ногами тучи пыли. ЭТО не для них. Вспомнил о матери. Бегу на огород:
— Мама! Послушай-ка . . .

Она только что принесла с соседнего огорода два ведра холодной колодезной воды. Дождя нет с самой весны, поливки много, вода в колодцах убывает. Бадья задевает дно, глина мутит воду. И та, что в голубых ведрах, мутная, с мусором.

От сарая на огород падает длинная тень. От этой тени и от воды огуречные плети, вялые днем, теперь приободрились, стали жесткими, звенящими.

— Мама, какой стишок!...

Она в подоткнутом кубовом сарафане с мелкими розовыми цветочками, в бордовом платке — маленькая, кроткая, с ласковыми, не знающими злобы, глазами. Приготовилась к слушанию, как к молитве, одернула сарафан, поправила платок. Вижу, что можно начинать. Читаю с выражением, как будто на экзамене:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат!

Кто-б ты ни был, не падай душой.

Пусть неправда и зло полновластно царят

Над омытой слезами землей,

Пусть разбит и поруган святой изеал

И струится невинная кровь,

Верь: настанет пора, и погибнет Ваал,

И вернется на землю любовь.

«Ваал»... Четырнадцатилетний деревенский ум представляет что-то страшное, рогатое, сине-багровое, с оттопыренным животом, с крокодильей пастью, живьем людей глотает, а запивает расплавленным золотом. Хвост в иголках, с каждой сочится яд. Ударит хвостом кого задумал проглотить, и не отлепишься, никуда не убежишь.

Страшно жить в мире, когда любовь скрылась из царства «Ваала». Но она вернется не в «терновом венце, не под гнетом цепей», а в силе и славе, «с ярким светочем счастья в руках»... Вижу ее красивой, высокой, в белом платье со шлейфом, как у царицы, в руках большая свеча, как у дьякона на Пасху, идет медленно, величественно и кротко смотрит на-

право и налево, а люди падают перед нею на колени и плачут от радости. Как все изменится после ее прихода! Не будет нищеты, горя, «ни цепей, ни позорных столбов» . . .

Как будто не я читаю, а сердце поет и плачет. Голос то срывается в слезовой дрожи, то звенит надеждой . . .

«Ночь вокруг чересчур уж темна» . . . Но и после темной ночи наступает рассвет. «Мир устанет от мук, захлебнется в крови» . . .

Мать льет слезы и крестится в сторону красной каменной церкви, хорошо видной с огорода. Для нее эти стихи — молитва и заклинание. Она может быть не все понимает, но чувства наши едины.

Кончил. Молчу. И мать молчит. Не можем ничего сказать от волнения.

— Господи! — наконец произносит со вздохом моя слушательница, — люди-то какие живут на белом свете . . . не простые, а Богом посланные . . . Простой разве так скажет? . . . Каменное сердце и то размякнет . . . Пришел бы такой человек к нам, посмотрел бы, как люди бедствуют, и тоже складное составил бы . . . Прогневался Господь на нас грешных, отступился . . . молиться надо, слезы лить в три ручья.

— Мама, я сейчас . . . Ты поливай . . . Никуда не уходи . . . Подожди меня тут . . .

Что с моим сердцем? Оно может выскочить из груди. Голова в тумане. Слава Богу, что в горнице попрежнему ни души. Сажусь за стол перед зеркалом. В зеркале кудрявый черноволосый отрок с пылающим лицом. Перо бегаёт по тетрадке. Строчки ложатся одна за другой. Самому не верится, что получается стихотворение — свое, а не списанное. На глазах слезы от какой-то новой, небывалой радости.

Лечу на огород.

— Мама! Написал собственный стишок! . . .

— Да ну? — радостно удивляется она.

— Вот . . . Видишь? . . . Хочешь послушать? . . .

— И спрашивать не надо . . .

Поспешно ставит лейку. Опять прихорашивается. Лицо молодеет.

— Называется, мама, печально: «Голод»...

... Это было летним вечером, 1911го неурожайного года, на огороде, меж огуречных грядок:

Посмотри, как страдает весь русский народ,
Солнце выжгло поля и луга,
Пересохла ручьи, гибнут люди и скот,
И горячая душит пурга.

Каждый житель в нужде, с исхудалым лицом,
Нет на счастье надежд впереди,
И в могильные ямы кладут мертвецов,
И тоска-лиходейка в груди.

С запыленных небес нет дождинки одной.

Только слезы струятся ручьем,
И над всею великою, русской землей,
Смерть проносится ночью и днем.

Я жалею тебя, мой несчастный народ,
Я готов за тебя умереть.

День счастливый придет, и душа запоет,
Будем вдаль веселее глядеть!

Будем верить, молиться с надеждой Творцу,
Будем слезно Владыку просить,
Чтобы Он не привел Мать-Россию к концу,
Чтоб помог нам несчастья изжить.

Читаю, а с нее не спускаю глаз. Плачет. Плечи вздрагивают.

Я кончил. Мать падает мне на грудь, обнимает. Я и обрадован и встревожен:

— Мама, ты что?...

— Прости меня, сыночек, дуру неразумную!

— Ну, мама...

— Никогда мне не замолить греха перед тобою...

— Ну, чего ты?... Какого греха?...

— Помнишь экзамен в министерской школе, куда ездила вместе с тобою? Тебя и товарищей спрашивают в классе, а отцы и матери в коридоре толпятся. Каждый молится, чтоб сынок экзамен на пятерки сдал. Только я одна другого у Богородицы просила: «Пресвятая Владычица, сделай так, чтоб не приняли моего Родюшку» . . . Как я рассуждала? Будешь ученым, откажешься от отца и матери. А останешься крестьянином, и мы всегда возле тебя, будешь старость нашу покоить, а мы будем деток твоих нянчить. А Царица Небесная не по моему, а по своему сделала, потому что понимала: «Темный разум у бабы деревенский, чего с нее спрашивать?» . . . Вижу теперь, какая польза от ученья. Стишок твой больно хороший, и сказать нельзя, как за сердце хватает . . . Народу прочитать, все обкричатся.

— Это ты меня надоумила . . . Теперь каждый день буду сочинять.

— Сочиняй, сынок, всему народу на пользу.

— Мама, давай я дополиваю, ты наверно устала.

— Ни капельки, да и полить-то осталось одну грядку . . .

Погоди-ка . . .

Она отходит от меня, наклоняется, раздвигает шуршащие мокрые листья и срывает огурец — зеленый, с пупырышками, с беловатым кончиком, на котором еще держится засохший цветочек.

— Это тебе за стишок.

— Спасибо, мама. Стишок первый и огурец первый.

— Дай Бог тебе насочинить столько стишков, сколько будет огурцов за все лето на всех грядках.

— Ой, как много!

Бегу в дом: хочется сочинить еще что-нибудь.

Пришла из гостей сноха Паша. Вернулся из лесу отец. Прочсть им или нет? Подожду. Паша еще смеяться будет, «стихоплетом» прозовет. Под окно подбегает солдатка Катерина. Паша шушукается с ней. Обе хохочут. Это мешает. Лучше уйти. Выхожу во двор. Там мать и четыре бабы из нашего кур-

мышья. Рассказывают друг другу печальные, деревенские новости.

Открываю калитку, сажусь на крылечко. В руках бумага и карандаш. Солнце спускается за избы противоположного порядка, но остывать не хочет. Тени покрыли всю улицу. На нашей стороне только кое-где солнечные треугольники.

— Родивон стишок составил всем на удивление, — доносится голос матери со двора.

— Надо сказать всему народу, пускай вечером соберутся у крыльца, а Родивон почитает, — говорит тетка Татьяна.

— И правда, — поддерживают ее остальные бабы.

Когда они выходят на улицу, тетка Татьяна спрашивает:

— Родюшка, кума Аграфена говорит: ты больно хороший стишок составил?

— Не знаю... Ей понравился...

— Коль ей понравился, и всему народу по сердцу придется.

За ужином мать спрашивает:

— Ничего не знаете?... Наш Родивон сочинителем стал...

— Да ну? — удивляется отец.

— Пушкиным будет, — смеется Паша.

Чувствую, как горит от смущения лицо. Если б дома был брат Тимофей, он бы тут же сказал: «Читай». Но отец, Паша и маленькая сестренка Мотря не просят. «Значит, им не интересно»... Еда нейдет на ум. Неужели когда-нибудь мои стихи будут напечатаны? С семи до десяти лет я ходил по свадьбам и забавлял народ пляской и прибаутками. За каждую пляску мне платили две-три копейки. О моих чудачествах знали во многих селах. Тогда я не стремился к славе. Хотелось только порадовать людей. Выплясанные деньги отдавал матери на лампадное масло, на соль, спички, керосин, соленую рыбу, которую ели с квасом в пост. Думаю ли я о славе теперь? Нет. Хочется только, чтоб стишок понравился народу. Если скажут «хорошо», буду писать еще. Для чего? Для того, чтобы люди,

слушая мои стихи, становились лучше, добрее.

— Почему это народ у крыльца собирается? — спрашивает отец, глянув в окно.

— Наверное граммофон хотят послушать, — говорит Паша.

— И вовсе никакой ни граммофон, а стишок родивонов, подумашь, диво какое — граммофон, он уж надоел всем, — объясняет мать.

В окно стучит прутиком сосед Савватей — начитанный, веселый мужик:

— Эй, ты, поэт! Выходи скорее! Весь народ заждался! . .

— Вот, сынок, чего ты удостоился, — говорит мать, — народ, как на свадьбу валом валит. Глянь-ка, из церковного курмыша идут, монашка Марья вышагивает.

— Я боюсь ее.

Когда умер дед, монашек — Марью и Федосью — позвали читать псалтирь. Сестренка похвалилась: «Наш Родька умеет плясать по всякому». Марья перестала читать, поманила к себе, зажала промеж колен и стала пугать адскими мученьями: «Набьют дьяволы мелких гвоздиков в пятки и заставят плясать на огненном полу: «Людей на земле потешал, теперь нас петешь» . . . Вечером повела в курную темную баню. Рассказы об аде в темноте потрясли душу. С тех пор дал зарок: никогда не плясать. Не нарушил обещания, данного пять лет тому назад строгой, грозной чернице. И вот она пришла — высокая, костистая, во всем черном. Вижу из окна: мужики, бабы, парни, девки, старики и старухи толпятся у крыльца. Мальчишек и девченок — видимо-невидимо. Делается страшно. Скоро буду сдавать экзамены в учительской семинарии, а сейчас должен сдать экзамен своему селу. Неужели провалюсь?

— Ну, скоро ты там? — нетерпеливо стучит в окно Савватей.

— Иди, чего ж ты? — понукает отец.

— Боюсь.

— Помолись, сынок, — советует мать.

Крещусь перед иконами в горнице. А все-таки страшно. На крыльце спрашиваю:

— Что это народу-то как много собралось?

— Тебя, Родюшка, послушать, --- говорит худенький, тщедушный, с реденькой бородашкой «Семен Преподобный». С тех пор, как у него дурочка-Машка родилась, ни одной церковной службы не пропускает. На левом клиросе поет и читает. На всех молебствиях рядом со священником.

Достаю из кармана листок. Солнце село, но еще совсем светло. Высоко под небом снуют ласточки. Народ глядит на них с тоскою и думает: «Опять дождя не жди, видишь, где касатки пырсают» . . .

Откашливаюсь.

— Шапки долой, — приказывает Савватей, — это вам не грамфонные труляляшки, а сочиненная поэзия нашего доморощенного Родивона!

Все покорно обнажают головы.

«Посмотри, как страдает весь русский народ» . . .

Голос дрожит. Смотрю на людей. Первая строка выдает слезы из многих женских глаз. Каждая следующая убыстряет слезные потоки. Там и сям слышатся всхлипывания. Мать не ошиблась, предсказав: «Народу прочитав — все обкричатся». Я сам не выдерживаю. Спазмы перехватывают горло, когда произношу:

«Я жалею тебя, мой несчастный народ,

Я готов за тебя умереть» . . .

Кончил. Какая тишина на улице. Только слышно, как попискивают ласточки, да кто-то далеко в лугах поет грустную песню. Люди утирают слезы — кто кулаком, кто фартуком, кто кончиком головного платка. Чувствую: «экзамен» сдан. На крыльцо входит Савватей. Он высокий, круглолицый, румяный, с маленькой, рыжей бородкой, с русыми кудрями. Бабы называют его приглядчивым. С его мнением считается старый и малый. На сходах он первый говорит.

— Ну, как, почтенные, стоящий стишок сочинил наш

поэт?

- И спрашивать нечего!
- Не видно что-ль, в какой задумчивости народ?
- Молодец, Родивон!
- Не даром учился два года в министерской.
- И дальше иди по ученой дороге!
- Описывай жизнь нашу горемычную!
- Родюшка, дашь списать? . .
- И мне, Родюшка.

Чуть не каждый просит о том же.

— А теперь я хочу сказать, — говорит Савватей, — сочиняй каждый день, Родивон, и с Некрасовым сравниешься, а то и повыше шагнешь.

Он берет меня за плечи, дружески трясет, пристально смотрит в глаза, улыбается:

— Не даром тебя с трех лет «головастым» прозвали. Была бы головенка с кулачек, такого не выдумал бы . . . А раз выдумал, значит в душе и мозгах — талант. Только смотри не задавайся, когда в люди выйдешь, не отрекайся от серой деревенщины. Помни: и ты был среди этих серяков, им прочитал свой первый стишок и все они своими заскоружеными слезами на правильный путь тебя поставили. Не отрекешься? . . . Ну-ка скажи, что думаешь?

--- Не отрекусь! --- говорю прерывающимся голосом.

— Ну, а теперь по домам! — заключает свое слово Савватей, — не будем донимать нашего доморощенного поэта-сочинителя, налегать на него все сразу, как на тонкую веточку кленовую, чтоб не сломился до сроку, до времени.

Расходятся нехотя — кто направо, кто налево. Заря меркнет. Ласточки угомонились.

Счастливые отец и мать глядят на меня влюбленными глазами.

Родион Березов

Встречи с Г. Д. Уэллсом

В Петербурге, зимой 1912 г. мне как-то позвонил по телефону князь В. В. Барятинский, журналист, драматург, одно время издатель газеты «Северный Курьер», театральный предприниматель, потому что жена его была известная актриса Яворская.

«Вы как-то мне говорили, что считаете Уэллса одним из больших умов современного человечества . . . Так вот он сидит тут рядом со мной, у меня в кабинете, приезжайте.»

Уэллс приехавши в Петербург остановился у него, а не в гостинице. В этот день и на завтра я возил Уэллса по Петербургу, показывал ему этот удивительный город, заезжал в Эрмитаж, в музеи, в Публичную Библиотеку, в картинные галереи.

Была хмурая, довольно холодная погода, совсем лондонская, но город нравился Уэллсу, собенно Нева с ее набережными, стильные здания александровской эпохи, памятник Петру Великому.

Глядя с другой стороны Невы на Петропавловскую крепость, Уэллс спросил:

«А там сидят заключенные и теперь? Много их?»

Я мог назвать только два имени, сказал что это государственная тайна. Уэллс улыбнулся:

«У нас тоже есть Тоуэр, но там теперь только показывают драгоценности английской короны и место где была отрублена голова Марии Стюарт . . .»

Потом он еще добавил:

«Интересно кто будет сидеть там в недалеком будущем?»

Мы знаем, что в недалеком будущем там сидели те самые министры, властью которых туда заключали так называемых

политических преступников.

Обойдя несколько музеев, он сказал:

«Лондон тоже туманный, но наши художники любят яркие краски и приятные сюжеты, а у вас всё мрачное, скучное, точно запрещено радоваться жизни . . .»

Особенно его поразило жуткое полотно Верещагина — поле покрытое трупами и священник с псаломщиком.

Глядя на статую Ивана Грозного работы Антокольского Уэллс улыбаясь сказал:

«Он хотел сделать из него что-то вроде Вольтера, а получился какой-то старый пьяница . . .»

Мы смеялись. Но особенно смеялись на третий день.



В наших газетах («Новое Время» и «Вечернее Время») наавтра я напечатал большую статью об Уэллсе, вроде интервью с ним. Издатель «Биржевки» Проппер напал на своего сотрудника, специалиста по интервью с высокими персонажами Шелькинга, стучал кулаком по столу, очень сердился:

«Такой знаменитый человек приехал в Петербург, а вы об этом ничего не дали в газету, вы пропустили . . . вы ничего не знаете что делается у нас важного . . .»

Сотрудник бывший дипломат, (которого за глаза в Петербурге звали «роялистом», потому что он, будучи советником русского посольства в Мадриде, заложил как-то посольский рояль, за что и был уволен со службы) сам был смущен, обещал наавтра большую интересную статью, более интересную чем моя, и поехал искать Уэллса по первоклассным гостиницам Петербурга. В «Астории» он нашел, то что искал. Это был Уоллес, известный охотник на крупных зверей, богатый человек, проездом остановившийся в Петербурге. Бывший дипломат почти не знал английского языка, но все-таки смело стал интервьюировать Уоллеса, а тот охотно рассказывал ему, что он возвращается сейчас с охоты в Уганде, что он за свою жизнь убил 72 тигра, 50 львов, несколько слонов, даже беге-

мота, а о более мелких зверях и говорить нечего . . . «Роялист» всё больше и больше удивлялся, что его собеседник не хочет говорить о своих литературных произведениях, несмотря на навояющие вопросы, а всё опять только об охоте.

Назавтра в газете появилась большая статья, интервью со знаменитым писателем Гербертом Уэллсом, его рассказы об охоте на крупных зверей, несколько удивительных случайностей во время охоты, и ни слова о литературе. Автор статьи приписывал это скромности великого писателя, своего рода манерности, капризу.

В этот день Уэллс как раз ночевал у меня, в моей вилле на Каменном острове и когда утром я стал переводить ему эту статью, он весело смеялся, хохотал, говорил что давно так не смеялся, просил меня напечатать что за всю жизнь ни разу не охотился не только на тигров и бегемотов, но даже не убил ни одного зайца, вообще не умеет стрелять . . .

В Петербурге долго смеялись по поводу этих интервью.



В 1920 году я встретился с Уэллсом в Лондоне. Он пригласил меня на завтрак в свой клуб.

Долго завтракали, пили белое вино и говорили, говорили без конца. Уэллс говорил о русских политических партиях, об английской цензуре, о Конан-Дойле, о будущем большевизма, о миссис Стэд, которая умерла 7 лет назад и все-таки состоит по-прежнему председателем «Общества Спиритуалистов».

«Но что случилось с Конан-Дойлем? Ведь это же умнейший человек? . . .»

«А это очень просто» — ответил Уэллс, и дотронулся пальцами до своего лба. — «Вместе с профессором Лоджем они дошли до верхов спиритической глупости. Кругом них толпа последователей и они совершают спиритические таинства.»

«Но как же это случилось? . . . Автор таких удивительных произведений . . . Такая ясность и логичность мысли? . . .»

«Да, это печально. Но он кончен как писатель. Очень

жалко. В некоторых своих рассказах о Шерлоке Холмсе он бессмертен, но теперь кончено . . . к сожалению. После «Раймонды» кончено . . . Знаете этот последний спиритический роман? . . . У него была жена, которую он очень любил. Она умерла несколько лет назад и перед смертью обещала ему сноситься с ним из загробного мира. Конан-Дойль поверил, что она исполнит обещание, познакомился с медиумами и спиритами; но прежде чем ему удалось получить известие из того мира от жены, он влюбился в одну из спириток и женился на ней . . . Она втянула его в спиритизм еще больше.»



«Из новых английских писателей с вами конкурировали в России только Конан-Дойль и Джек Лондон».

«Да, я это слышал. Но за всё время из России я только один раз получил гонорар в сорок фунтов, и то не за свое оригинальное произведение, а за предисловие к какой-то книге. На доход от моих русских изданий я не проживу» — засмеялся он. — «Три четверти моего заработка я получаю из Америки; и не только я, многие английские писатели.»

Нам подали счет. В счете имя Уэллса было написано через «V», вместо «W». Ресторанная прислуга в Англии не очень знакома с литературой и может писать Wells через «V».



В 1937 г. А. Н. Толстой возвращался из Англии и рассказывал о своих английских впечатлениях. Как рассказчик он был неподражаем, остроумные фразы дополнял еще мимикой и интонациями, нельзя было не смеяться. Под влиянием более значительной доли алкоголя А. Н. становился еще веселее и остроумнее, но тогда присутствовавшим дамам приходилось уходить из комнаты.

В Лондоне он был в гостях у Бернарда Шоу и Уэллса, рассказывал о завтраке у Уэллса, сопровождая рассказ комическими жестами.

... «Уэллс был у меня в гостях в Детском. Звонят мне из Москвы, что приехал в Ленинград Уэллс. Прими его и угости как следует, по нашенски... Я поехал в «Асторию», вызвал управляющего и говорю — вы знаете кто такой Уэллс? Смотрит, глазами моргает, наверное не знал... Сказал ему, что надо Уэллса угостить по-русски, накормить до отвала. Что у вас есть? Оказалась стерлядь, большущая, не стерлядь, а невинная девушка в семнадцать лет и кругом еще раками обложена. Потом рябчики в сметане, икра разумеется, балык, гурьевская каша. Всё это мне прислали в Детское, завтрак был отменный, как в лучших домах. Он себе этой стерляди три раза накладывал. Водку пили, потом вино, коньяк, портвейн и прочее. Мы ему величанья пели, со смеху покатывались, потому что он по-русски ни бэ ни мэ... Я несколько товарищей пригласил, знавших по-английски. Уехал он совсем довольный, угощение было настоящее. А вот теперь, в Лондоне, он меня пригласил на завтрак. Ну, думаю, какой это он нам завтрак закатит, каким удивительными английскими блюдами угостит, так даже слюнки потекли заранее от ожидания. Приехали мы с женой и еще с нами наш посол Майский. Началось с того, что лакей спросил у каждого, что ему угодно пить за завтраком. Я по-английски ни гу-гу, а Майский перехватил и говорит, что этот джентльмен, то есть это я значит, ничего кроме оранжаду не пьет — так мне и подавали всё время оранжад, чорт возьми... На первое подали какую-то салаку («кипперд херинг» — пояснила жена), на второе что-то жиденькое, безвкусное, брандахлыст и в нем плавают какие-то беленькие кубики. Потом вареную курицу дали... Вот так завтрак думаю. Но тут он встал, вышел в соседнюю комнату и возвращается с зажженным большим канделябром. Ну, думаю, вот теперь начинается настоящее угощение. А потом принесли вазу, а в ней большая гроздь винограда и большие ножницы и он стал разрезать гроздь на кусочки, чтобы, значит, кто-нибудь цельную не зацапал... И это всё. Вот так завтрак! Ну приедешь ты опять к нам, я тебе покажу» — с постоянной комической

мимикой рассказывал Толстой.



В январе 1933 г. в окрестностях Берлина, в Целендорфе, часа в четыре ночи, мою виллу окружили вооруженные люди, перелезли через забор и стали колотить в двери. Это был какой-то самочинный отряд гитлеровцев, производивший ночные облавы и обыски. Дверь отворили, несколько человек с ружьями вошли в дом.

«Сдайте оружие».

Из оружия у меня оказался только маленький «бульдог», из которого никогда не стреляли и нож для разрезания бумаги в виде кинжала; револьвер и ножик, как режущее орудие были реквизированы. В кабинете стали перерывать ящики письменного стола. В первом же ящике на самом верху лежало только что полученное письмо с английской маркой — письмо Уэллса. Начальник отряда именно его взял и стал читать, но разобрал видимо только подпись:

«Это Вэллс пишет вам? Знаменитый Вэллс?»

«Да, это знаменитый Уэллс.»

Начальник отряда положил письмо себе в карман и на этом обыск моего письменного стола закончил. На дворе разобрали курятник ища под ним чего-то, но ничего не нашли. В другом конце двора была куча камней и битого кирпича — кучу раскидали и пробовали рыть под ней землю, но там тоже ничего не нашли . . . Обыск продолжался часа два, но меня не арестовали и я приписываю это письму Уэллса.

(«Из Кладовой Писателя»)

Вл. Крымов

Б Е Л К А

Небо серебристо-голубое
В нежной паутинке облаков . . .
Пахнет лес прохладой и покоем
Солнцем позолоченных стволов.

Так особенно качнулись ветки ---
Плавно, грациозно и легко —
Мягкий шум — прыжок упруго-меткий —
Пышный хвост кивает далеко . . .

А на розовой и теплой хвое
Шишка в метках белчиных зубов . . .
Небо серебристо-голубое
Тает паутинкой облаков.

С К О Р О

Скоро будут трескаться каштаны,
Скоро осень тихая придет.
Будут осы виноградом пьяны,
Будет в сотах захмелевший мед . . .

В синем небе желтизна и алость
Зыбких листьев . . . Легкость, пустота.
А на сердце новая усталость,
Инеем покрытая мечта.

Лидия Алексеева

Б У Д У Щ Е Е

Под осенне-серым небосклоном
Все кругом уныло спит, —
Только степь звенит весенним звоном
Под ударами копыт.

В этом звоне тонет тихий шорох
Проходящих черных дней,
И в степи таинственных просторах
Даль становится ясней...

Отошли и миновали на год
Дни буранов, снежных выюг,
И из стран пустынь, дворцов и пагод
Шлет дыханье знойный юг.

Он согреет ледяные цепи,
Он разбудит тех, кто спит...
Оттого и звон идет по степи
Под ударами копыт!..

Иван Аносов

Песенка русского XVIII века.

РОЗА-АЛОЙ ЦВЕТ

“Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden . . .”

Отрок розу узревал,
На степи растушу!
Что есть прыти подбегал,
Всяк листочик лобызал,
Утешался пуще!
Роза, роза-алой цвет,
Благовонны кущи!

Да в ту пору враг водил
Резвым ребятенкой:
“Сколь цветочик оной мил!”
И подернул со всех сил
Стебелечик тонкой!
Роза, роза-алой цвет
С томною коронкой!

Тут вещает ал цветок
Злому отрочати:
“Ах, почто же ты совлек
Сей безвинной стебелек?
Можешь оной смяти!”
Роза, роза-алой цвет,
Где такой сыскати?

Отрок мыслит: “Преломлю
Стебель сей строптивой!”
Молвит роза: “Уязвлю,
Лишь притронься ко стеблю,
Отрок неучливой!”
Роза, роза-алой цвет,
Цветик прекрасивой!

По перстам дитяти кровь
Пурпурна лнется!
Поделом, не прекословь!
Затверди себе: любовь
Мукою дается!
Так о розе-алой цвет
Басенка поется!

Ну, вода — как молоко парное!
Ну, весло — как перышко в руке!
День истаял на медвяном зное,
День, качаясь, потонул в реке.

Вот луна восходит розовато.
Поплывем по лунной борозде!
По широким выплескам заката,
По тугой опаловой воде!

П Е С Е Н К А

Ты снова, милый, близ меня.
Гляжу оборотясь
На след бывалого огня —
Морщинок мелких вязь.

Гляжу на складочек кружок
В углу прямого рта . . .
Не будем плакаться, дружок —
И я, и я не та!

И у меня перепылал
Костер осенних нег
И угли тлевшие устлал
Невозмутимый снег!

Не надо слез, не строй в кружок
Морщинки поздних лет!
Безбольной радости, дружок,
На этом свете нет!

Ольга Анстей

ГОЛОС МИРА

Умолк навеки голос с высоты,
Угасли знаки вещей откровений . . .
Куда пойдешь, кому послужишь ты
И перед кем падешь ты на колени?

Всё стало тайной. В путях тишины
Апостолы в неведеньи томятся,
И ангелами вспененные сны
Первосвященникам уже не снятся.

И всё-таки ты не совсем забыт!
Взгляни вокруг: в лазоревом просторе
Как горний голубь облако парит,
Как Гавриил благовествуют зори;

Поют ветра — как с неба голоса,
А в темноте такой библейской ночи —
Как Моисей гремит и жжет гроза,
Как Иеремия океан пророчит;

И твердь гудит, и прядает звезда,
И воинство лесов подъямлет пики,
А в зареве закатов иногда
Еще сквозят архангеловы лики!

Иди и слушай шелест и прибой —
Немолчный голос счастья и тревоги!
И пусть навеки замолчали боги —
Ты не один: мир говорит с тобой!

Мы жизнь прошли, как поле, рядом,
По узкой и прямой меже,
И вот белеет дом за садом
И ужинать пора уже.

Соломенную шляпку скинув,
Прическу поправляешь ты,
Я расставляю по камину
Неприхотливые цветы.

И это всё. Ни клятв, ни бдений,
Ни патетических сонат!
Лишь — голова в твои колени,
Притихший дом и спящий сад.

И узкий серп над ближней рощей
Нам говорит из полутьмы,
Что нет прекраснее и проще
Того, что пережили мы.

Д. Кленовский

Высока зеленая пшеница,
Пышны липы круглые над ней.
Деревушек древних вереница.
Колокольня. Стая голубей.

Старичек на солнце, у порога
Одичавшей хижины седой.
Ослики на узеньких дорогах,
Водоемы с чистой водой.

Что еще мне в этой жизни надо?
В дверь какую нынче постучу?
Тишина, зеленый угол сада...
Ничего другого не хочу!

П О Э Т У

Чтоб говорить об этом, нужны годы
Молчания и подвига, борьбы
С самим собой, затвора и ухода, —
А ты во власти собственной судьбы!

Не ты ведешь, тебя несет стихия,
Тобой играет каждый ветерок.
Что лепеты раскаянья глухие?
Как твой порыв непрочен, неглубок!

Ничтожный окрик... и ответишь гневом
И не подставишь никогда ланит...
Нет, не таким разносемянным севам
Стать жатвою, что голод утолит!

Екатерина Таубер

ПЕСНЬ О ВЕТРЕ

Посв. Н. С. Тимашеву

Хвостатый вестер завертел
Покорный воздух каруселью,
Взмахнул хлыстом и улетел,
Хмельной, в безудержном веселье.

Дождем как будто бы из туч
Летят назад сухие листья,
Зачем-то взвитые из куч.
“Привычным ухом внемлю свист я”

Привычным ухом . . . Все ж нова
Мне песня ветра бурового,
Как по весне нова трава,
Как тонкий лист пленяет снова.

И я люблю лохматый ветр,
Когда, прорвавшись из недр,
Воздушным вихрем сквозь дубравы
Он льется волнами по травам
И, разозлившись, крут и груб,
С размаху рвет столетний дуб.

Татьяна Тимашева

ОСЕННИЕ СТАНСЫ

Мы погасили наши солнца,
Кто знает, — мудро или зря —
И вот бессмысленно толчемся
В белесой мути фонаря.

Дай руку. Ты любви не просишь
И я твоей любви не жду.
Мотает слякотная осень
Листы опавшие в саду.

Дорожка. Столик ресторана.
Литературная брехня.
Но глуше боль от вечной раны,
Когда ты около меня.

И может быть, в мой миг последний
Не огнемельный вспомню час,
А наши призрачные бредни
И взор твоих осенних глаз.

Эраст Шошин
Эркелин, 1923 год.

Мишель Бонни

Это молодой поэт из Кот-д'Ивуар, французской экваториальной Африки, рядом с Либерией. Ему принадлежат «Приключения Черного Мальчика» и сборник стихотворений. Он влюблен в Ганди. Несмотря на молодость поэта (ему 26 лет) его произведения уже переведены на английский и русский языки. Он пишет по-французски. Это — поэт великого Черного Континента.

В долинах реки Энзи, в Кот-д'Ивуар, произошла одна из колониальных жестокостей — гибель массы работников земли. Песня Мишеля Бонни об этой реке.

В. Л.

Э Н З И

Ты роняешь Энзи,
ты вспоминаешь тот трагический день
когда твои воды были взволнованы ненавистью;
вид твой хмурый;
ты жалуешься, что против твоего желанья
твои воды до самого устья
несли тела тех, луга которых ты окропляла.
Ты видела мужчин, и женщин, и детей,
их вопли замирали в твоей груди . . .
Ты дивишься, что не слышишь больше
ударов Там-Тама?
Ты дивишься, что тебя
не убаюкивают мелодии праздничных вечеров?
Ты не знаешь, что такое ненависть,
и ты ее не понимаешь . . .
Ненависть принадлежит лишь людям.
Ты умеешь сочувствовать нашим несчастьям
и по твоему глиняному ложу
ты нежно несешь твои воды,

как слезы на щеках заплаканной матери . . .
 Взгляни на тех, кто работает в полях.
 Посмотри, как они трудятся над землей,
 и как их бронзовый стан обливается потом.
 Послушай вздохи, которые следуют
 за размахами их баба*.
 Как природа, они ткут будущее в молчании.
 Наступит время, когда дети тех, кто здесь погиб
 пройдут по твоим берегам
 и бросят в твои воды
 в память наших отцов
 цветы, сорванные на лугах
 орошенных тобою.

Мишель Бонни
 Перевод с франц.
 Ольга Одоли

ТАМ-ТАМ или ЧЕРНАЯ МАГИЯ

Таведже — поэма

Таинственный и простой голос Африки:
 Там-Там длинный
 Там-Там короткий
 Там-Там широкий
 Там-Там узкий
 Тон звучащий высоко
 Тон звучащий низко.

Темп неровный, чертовский, адский
 Звук протяжный в дни траура
 Звук скрипучий — эхо взрывчатого оружия воинов.
 Звук важный, величественный больших церемоний
 Ускоренный темп,
 Трепетание танцовщиц в вихре пыли
 Звук, рассыпающийся в отдаленном призыве,
 Там-Там, ты содержишь в себе все секреты.

* баба — земледельческое орудие.

Ты ворчишь, как море,
Ты шумишь, как лес,
Ты затихаешь, как пустыня,
Ты шепчешь, как поле,
Ты загораешься, как громовая стрела,
Ты мчишься, как разъяренная река,
Ты проникаешь в могилы,
Ты говоришь с умершими,
Ты сопровождаешь живых
И предшествуешь им в будущее!

Пока будет разноситься твой голос Там-Там
Африка сохранит свои надежды.

Мишель Бонни
Перевод с франц.
Ольга Одоли

Испанские «Coplas»

Так называются в Испании коротенькие песенки в четыре строчки, распеваемые народом. Одни песни вышли из народа, другие (имена их авторов давно забыты) были присвоены им.

Явления, подобного испанской народной поэзии, редко встретишь в европейской литературе, разве только в португальской. Хотя нечто похожее можно найти в цыганской песне, а также и в русской частушке, не фабричной, а созданной в крестьянской среде, которая творит ее даже и теперь.

Причину поэтичности испанских песен следует искать в географическом положении Испании, ее истории и одаренности народа. В течение веков различные народы и расы владели Иберийским полуостровом: греки, готы, римляне, мавры. Коренные жители принадлежали к романскому племени, (отсюда слова романс, роман, романтизм). Из борьбы, из слияния этих рас возникла богатая литература XII - XIV веков, а также так называемый «Золотой век» (XV - XVII в.) с его своеобразной психологией и языком.

От латинских предков испанцы унаследовали острый ум, реализм, юмор, иронию. От мавров—чувство красоты и африканский темперамент: чувственность, ревность, жестокость, религиозный фанатизм, фатализм. Благодаря ненависти к поработителям развились в испанцах мужество, доблесть, гордость, чувство чести. Еще недавно они считались самым правдивым народом Европы. Наравне со всеми этими свойствами у испанца детская непосредственность, чуткость, что-то «душевное», такое близкое русским. Чувство красоты так сильно, что почти никогда не встретишь безвкусицы, пошлости, мещанского самодовольства. Испанец—в душе—артист. Испанец-рабочий с гор-

достью сказал мне: «в Испании мы все поэты!»

Весь народ может участвовать в создании своих песенок. Первый встречный, будь он человек образованный или пастух, может сочинить коротенький куплет («сорла»), и, если он понравится, то его тотчас же повторяют из уст в уста.

Пестрая яркая жизнь южного города, а также дикая природа,—все вдохновляет испанца. Идет ли по улице красивая женщина, несут ли мимо покойника, встречается ли влюбленная пара—тотчас же рождается песня у даровитого зрителя. Женщины также принимают участие в этом творчестве.

Среди этой анонимной лирики дошли до нас и имена некоторых поэтов, но их немного: А. Феррант, А. Товар и особенно любимый Манюэль Мочадо, написавший следующую популярную песню:

Нет! улица эта теперь — не твоя;
Это — первая встречная улица,
Путь проезжий, большая дорога.

Очевидно, тут говорится вернее всего о любимой женщине, ставшей доступной всем.

Популярен до сих пор поэт Кампоамор († 1901 г.). Вот его четверостишие:

Я отомстил, и ты отомстила.
В том наша слава.
Мечь в Испании — не прихоть,
Не порок, а право!

На ряду с этим иногда какая-нибудь старинная, всем известная, песня, подхватывается большими поэтами; они придают ей еще более художественно-совершенную форму, и в этой новой оправе она опять возвращается к своему источнику. Например, таковы куплеты о «Погонщиках-лошаков», Федерико Гарсия Лорка, одного из величайших поэтов XX века, расстрелянного франкистами в 1936 году.

Стихосложение в испанской поэзии — силлабическое.

Число слогов меняется от пяти до девяти, а в эпосе и больше, но чаще всего встречается октосиллабический размер. Рифмы почти все ассонансированные; обычно рифмуется вторая и четвертая строчка. Ритм разнообразный и музыкальный. Есть песни в три строчки, четыре и семь строчек, но чаще всего встречается «сорла» — четыре строчки.

Испания когда-то была разделена на провинции, отличавшиеся друг от друга своими характерными чертами. Хотя границы эти стерлись со временем, но отличительные черты разных народностей сохранились и в песнях. Так на севере песни печальнее, суровее других. «Гитанерии» (от слова «гитан») Альбаисина — мрачные, страстные. Азаарес (Azahares — апельсиновые цветы—название песен). Севилья—влюбленные, нежные!

«Страсть, что в Галиции (Galicia—северная провинция) зовут ревностью, в Кордове становится ударами кинжалов и зловещими гиперболами». Знаток испанской песни Е. Каррере говорит, что «Смуглая Андалузия» — «мать песнопения». Недаром сложилась поговорка — «кто говорит Андалузия—говорит песня».

Восемь веков владели ею мавры и наложили на нее неизгладимую печать. Мавританская культура X - XIV веков славилась в Европе и на Ближнем Востоке. Ее центром была Кордова, называемая Западными Афинами. Здесь процветали искусства, науки, философия.

Народная поэзия Андалузии самая богатая: в ней все мотивы, в ней звучат все струны души, начиная с простодушной, наивной песенки, полной свежести:

Мои глаза с твоими
Слились так тесно,
Как ягоды лугов --
Черника спелая.

Привожу песню, где и любовь, и ревность, ирония и печаль:

Обещала прийти сегодня,
Сегодня говоришь, что завтра.
Завтра же наверно скажешь,
Что прошла охота.

В стихах чувствуется старая культура, индивидуальное творчество:

Словно жемчуг - - речь влюбленная,
Словно зерна ожерелья.
Слово лишь одно покáтится,
А за ним и остальные.

«Наша народная поэзия - - варварская: в ней романтические преувеличения, которые могут шокировать иностранца, но поэтический образ всегда ярок», пишет Каррере.

Есть три цвета, милая мама.
Знаю, что черный - самый красивый.
Черными были гвозди,
Что вбивали в тело Христово.

Здесь намёк на черные глаза: их красота приводит к страданию.

Старинная испанская лирика может показаться нам богохульной; иногда непонятна наивная вера, вовлекающая Бога в месть и преступления. Изменнице или сопернику желают дурную смерть и призывают Божье имя. Лет сорок тому назад в газетах промелькнула заметка о дуэли, происшедшей между двумя испанцами, образованными людьми. Дуэль была вызвана тем, что один из противников насмеялся над именем Богоматери. Второй тотчас же вызвал его к барьеру.

Любовь и смерть, любовь и ненависть сплетены неразрывно в испанской лирике.

Я Бога молю, чтоб послал тебе смерть,
Чтоб тебя поскорей схоронили,
И закрыли лицо твое милое,
Чтоб никто его больше не видел.

Редко, где встретишь такую скупость слов, такую точность мысли, яркость образов и динамику, как в народных песнях. Культурные, утонченные поэты, за исключением гениев, не могут соперничать с бедным цыганом, не боящимся ни преступления, ни виселицы.

Будет твой конец дурным.
Галстуком тебе послужит
Штанина палача.

Цыганская лирика занимает особое место в испанской поэзии. В ней — иступленное желание наслаждения, ужас потерять любимую даже после смерти, тоска бессмертия.

Я завидую жадной земле,
И червям могильным завидую,
Потому что они съедят
Твое тело такое цыганское.

Иногда проскальзывает в народной лирике детская вера в загробную жизнь, но чувство это неглубоко, на этой мысли поэт не останавливается. Смерть кажется гораздо реальнее бессмертия. И только в цыганских песнях находим эту страстную веру. Умиравший гитан просит возлюбленную похоронить его не лежащим, а сидячим: так он будет ждать ее после смерти.

Понятно, почти все романтики увлекались Испанией и ее поэзией. Байрон перевел «романс» (балладу) «Падение Альхамбры» и впервые познакомил Европу с эпосом мавров. Гейне по своим мотивам очень близок Испании, особенно романтизму мавров. Он перевел некоторые мавританские «романсы» — баллады. Темы, часто попадающиеся в лирике немецкого поэта, встречаются и в «coplas». Там тот же поэтический прием: контрасты света и тени, мечты и жизни, красоты и уродства. Та же горькая ирония, иногда тот же безнадежный пессимизм.

В русской поэзии также встречаются испанские мотивы. Пушкин пишет «Каменного Гостя» и Романсы. Юный Лермонтов

создает драму «Испанцы», а у Блока мы находим «Кармэн».

Испанскую лирику характеризует юмор, веселая насмешка, то, что на французском языке называется «la gouaille», черта типичная для южных, латинских народов и для Андалузии, в частности. Благодаря ей испанские комедии так наивны

Страсти бедного подобен
Дерзкий карлик — петушок.
Домогается любви он
Понапрасну круглый год.

При переводе «coplas» встречаются большие затруднения, особенно с наиболее старинными из них, так как в них много архаизмов. Прошу снисхождения русского читателя к моей слабой попытке передать живую музыку испанского стиха.

Платье в моем шкапу
В четыре цвета окрашено, —
Надежда и заблужденье,
Любовь и лютая ревность.

Если спросит тебя мать,
Любишь ли ты меня, —
Губами ответь ей: «О, нет!»
Сердцем: «Да!» — отвечай ей.

За взгляд единый дам я розу,
Гвоздики две за поцелуй,
Когда ж захочешь, чаровница,
Чтоб весь свой сад я дал тебе?

Кто любит, чтоб только любить,
Не ожидая награды,
Будет несчастлив в любви он,
И все же, она — настоящая!

— Поцелуй меня! — «Нет, не хочется».
— Обними хоть разок! — «Не сейчас».
— Уколи хотя бы кинжалом! —
Уколола потом много раз.

Говорят, ты меня не любишь.
Ну так что ж, какое мне дело?
Траур одену я завтра, --
Платье из алой тафты.

Я в суд явился сегодня
И так председателю молвил:
— Если влюбленных карают, —
Пусть на смерть меня осудят! —

Каждый человек, кто женится,
На улитку стал похож.
Удручен, как Бог, заботами,
На спине же вырос дом.

Бог из косточки Адама
Создал женщину впервые,
Бросил эту кость мужчине,
Что грызет ее доныне.

О. Можайская

О жизни в нас

**О пятой книге стихов «Круг и Тень», Сергея Маковского.
«Рифма» Париж. 1951 г.**

Об этом — нам страшно и стыдно говорить: о жизни внутри нас, о том, что есть самое значительное, самое важное. Да и кому сказать? Все озабочены хлебом насущным, слушать им некогда, и не интересно, а дни несутся и жизнь шумит открывающая хаос. А мы научились лишь верить глазам, лишь верить тому, что можно измерить. А как измерить то, что внутри нас? То, что по нашему — тяжелые плоды воображения. И даже поэт, со всей чуткостью его опыта, утверждает, что это —

некогда от мрака,
исчезнет всё в какой-то день,
как эта солнечная тень.

А мы чувствуем в себе жизнь, мы не избыли ее, мы не исчезли, и мы возвращаемся к некоей дорогой нам душе, возвращаемся с мольбой: милый, милый, послушай, ведь это и есть наша жизнь, моя жизнь.

Да что это? И кто это говорит?

Да, это — поэзия, слова! Да, это — Я!

У меня в руках, в устах — оружие.

Какое оружие? — Слово. Ах, какое сильное, сильнейшее в мире! Самое возвышенное и утонченное! Оно как инструмент — то музыкальный, то остро-режущий, вскрывающий.

Оно нужно мне, чтоб изъяснить себе — «Тебе». И изъяснить себя **самому себе**. Хочу изъяснить себе — что есть мое Я, мое существо, моя жизнь. А хаос шума вокруг меня — мешает, заглушает, и чудится порой, что ничего другого и нету — только шум, и я в плену у него, охваченный его волнами. И сколько нужно борьбы, чтоб выплыть на поверхность и взглянув в глубокую даль тихо сказать:

“Все дальше от меня шумливой жизни плен”

В этот момент я понимаю, что

“так ненужно все, что создано невечным”.

Тут-то внутри меня смещается чувство времени. И тогда я могу сказать о минутах и часах, и о всем текущем времени:

Пускай летят — и не замечу!

И за-день миг, и день за год.

В душе раскрылось внутреннее зрение, внутренняя жизнь — изменилась мера: миг за день и день за год.



Пустота словесного звона отходит вместе с суетой. И вырастает то, что таинственно живет внутри нас и соединяет с ушедшим и с будущим, с вечностью, с Духом. Это уже есть Дух. Тут с нами происходят ---

Пронзительные перемены!

Обычный мир плывет . . . Исчез,

и эти стены — уж не стены,

а сети лиственных завес.

Наша душа уносится из мира «четырёх стен», уносится на крыльях слова. Порой это звучит (и осуществляется) «не в слове, а где-то за словом». И тогда мы различаем, что

Уходят года, с годами

прозрачней душа, ясней,

и жаль не сказать словами

того, что творится с ней.

Что же там творится? Какие события?

Недостроенное зданье,

не вспыхнувшая купина.

Пытка и очарованье

неувенчанного сна.

Но все это иногда не совсем ясно, в виде толпы слов —

брезжат образы смутно,

не умею выразить их,

и забудется сон минутный,

не вспыхнет желанный стих.

Душа рвется, налаживает инструмент своего сердца. Хочет возвратиться «снова в обещанный райский сад», а в руках, в устах — все тот-же инструмент: слова. Да, правда, какой изумительный инструмент, какой могучий!

Но наступает и другой период и тогда —

... кажется иногда,
что даже слова бессильны,
что слов избылась руда,
что холод от слов могильный.

И кроме того ведь слова повторяются, от употребления они как бы стираются, делаются чужими, так что их трудно уж и признать. И рвется с души другой поток:

Да много-ли слов своих?
Словам всё труднее верить.
Не хочешь, а лгут они,
вростая в размеры строчек...

Вот бы здесь остановиться! Но нет, невозможно! Значит я лгу самому себе? К чему же эта ложь? Если это — ложь, то не от моей злой воли, а от окружения, от неизбежности: слова попадают в —

западни
твоих запятых и точек.

Пусть, пусть так! Но нет ничего дороже слов, ничем не открыть своей души — один только и есть ключ — слово. Даже любовь не высказать ничем иным кроме слова. И пусть — сомнения, пусть — «западни запятых и точек», а —

всетаки живы слова,
и всетаки слово нетленно,
хоть миг — но была бы жива
любовь и душа вдохновенна.

И снова я бросаюсь к инструменту сердца с желанием извлечь нужные звуки, потому что

ведь столько вспомнить осталось,
так много — забыть!

Да не поздно ли вспоминать? Нет, вспоминать о встречах с

Духом не поздно, никогда не поздно так как это тоже — творчество в себе. И в этот момент человек уже не принадлежит себе. Он только послушен «запоздалому наитью», он «заветными словами сердцу вторит», трудится над словом — «над стихом как ювелир». Шлифовщики бриллиантов так шлифуют сырье драгоценных камней. И чем больше шлифуют тем глубже сияет камень. Поэт шлифует слово идущее от сердца к сердцу. Иногда не много остается после упорного труда «ювелира-шлифовщика», но этот дивный остаток он всё же не бросает в ящик с ювелирными безделушками, а вверяет сердцам и памяти людей идущих за ним:

И прах лучистый взвесив на ладони,
векам вверяю драгоценный камень.

Все подлинно ценное остается в этом слове, только оно и дорого, только оно и реально. На остальное —

Полузакрой глаза. Желанья
и мысли пламя потуши,
и погрузись в полусознание,
в сияние темное души.

Жди света, сумраком объятый, ---
послушна сумраку мечта.
Пути невидимые святы,
благословенна слепота.

Конечно, это --- внешняя слепота на все то, что «ненужно», что «невечно». Через эту «слепоту» приобретаешь внутреннее зрение, внутренний слух, которые уводят нас в сторону:

Все дальше от меня шумливой жизни плен,
и люди кажутся какими-то тенями . . .
Я мимо прохожу и в полузабытьи
дивлюсь и улице, и этим лицам встречным
. . . и так ненужно все, что создано невечным.

В такие моменты жизнь преисполнена внутреннего горения и света, и ни новые «встречи», ни новые «разлуки» не имеют решающего значения, даже на самую старость поэт смотрит юными глазами —

живу отшельником, --- в тиши
перебираю молча струны
насторожившейся души.

В этом состоянии душа приближается к ощущению вечности,
т. к. время теряет свои границы. И вот —

Еще один почти бесследный день.
Но он прошел, и на-день путь короче,
и мимолетней сон, и ближе тень
всеразрешающей, последней ночи . . .
. . . и завтра будет то-ж,
полувстревоженность, полузабвенье,
опять проснешься и опять уснешь . . .
Когда-нибудь — совсем, без пробужденья.

Не все-ль равно — день, два, или четыре,
в своей постели, иль в заглошшем рву,
в Париже ли, где вот еще живу,
“опять в Москве”, а то, гляди, в Сибири.

Полный смирения и мудрости поэт спрашивает себя: да что же
Я такое? И отвечает:

Былинка малая в потоке рока . . .
Ведь мы, приговоренные на казнь,
не знаем только суженого срока . . .



Мы покорно следовали за поэтом, и, увлеченные им незаметно
дошли до вопроса всех вопросов. Когда-то великий поэт и
пророк древности тоже пришел к нему:

“Кто есть человек, что Ты помнишь его, и сын чело-
веческий, что Ты посещаешь его?” (8-й псалом Да-
вида).

И это правда, что мы — «былинка малая в потоке рока», но
без этих былинки нету и всей «были», и ради всех «былинок»
есть бесконечный мир и великая Жизнь, со всеми ее тайнами
и чудесами. Поэт древности поставил свой вопрос о человеке
взирая «на небеса, на луну, звезды» и ответил:

“не много Ты умалил его (человека) пред ангелами:
славою и честью увенчал его; поставил его владыкою

над делами рук Твоих; и все положил под ноги его. . .
Как величественно имя Твое по всей земле!"

А поэт (и человек) наших дней? Отказался ли он от сыновства и наследия? От соучастия в творчестве мира? От ответственности за сотворенное и творимое? Нет, не отказался. Что же такое с ним произошло, да и со всеми нами, что он теперь, в наши дни, отвечает иначе:

Ведь мы приговоренные на казнь,
не знаем только суженого срока . . .

Несомненно, что что-то произошло. Мы будто бы впали в смирение («живу отшельником») и нас учили, что смирение — полезно, необходимо. Но вот мы смиренно докатились до вопроса вопросов и тут убеждаемся, что не всякое смирение на пользу. В самом деле, нам вверено «царство Божие», а мы отталкиваем его «смирением», сославшись на нашу слабость («былинка») и на нашу обреченность («приговоренные на казнь»). И это мы — наследники Духа, дети Его! А нас превращают в бессильных рабов, лишенных сил творить рядом с Ним. Не показатель ли это снижения нашего духа? Нас никто кроме нашего упадочного («грешного») состояния не приговаривал на казнь, нам вверено «состояние воскресения» — созерцание, видение, творение вечности, а мы сталкиваем сами себя на положение «преступника» не знающего «только суженого срока». А мы ведь знаем, что мы «не судимы» и что мы обречены не на смерть, а на творчество.

Но настоящий поэт в том и проявляется, что он способен соскользнуть вниз, упасть, но он же и вздымается снова вверх, преодолевает паденье. И мы радостно поём с ним и вторим ему:

Не покоряйся искушенью,
безбожному не верь уму,
не верь тоске, не верь сомненью,
не верь неверью своему.
Нет, не по прихоти случайной
бездушной персти ты возник.

Лицом к лицу пред вечной тайной,
в ничтожестве — о, как велик!
Всему единое мерило,
всего единый судия —
твое сознание озарило
слепые бездны бытия . . .

Вот когда голос поэта наших дней (и наш голос) сливается с голосом поэта древности и приобретает пророческую силу! Только человек способен измерить мир человеческою мерою, только он может выразить в **С Л О В А Х** его ценности, только **его** сознание «озаряет слепые бездны бытия»! Но можно ли после таких слов вернуться к стихам:

Пытает ночь. В постели — как на плахе.
Жизнь, тайна, люди . . . Спать бы, спать!
Но искушенья тьмы, ночные страхи . . .
О чем? За что? — Нельзя понять.

Но мы все-таки находим объяснение почему «нельзя понять». Потому что —

“Слово дивное забыто
— ключ утерян.”

(Вспоминая Есенина в «Ключах Марии» — о церкви Слова до сих пор запечатанной — хочется крикнуть: держайте поэты (и люди), ищите ключи от Царства. Они есть, они найдутся.) Стоит ли возвращаться в мир страха? —

Покинув суетную землю,
в края иные уношусь,
обетованьям сердца внемлю,
смирennemудрию учусь.

Ведь это никто, как мы же, в падшем состоянии населили землю «суетой»! Нам ли не знать, что в сердце человека и лежит та мечта, которою сметается «суета» с лица земли. А наш поэт будто бы не желает борьбы за право творчества **здесь**. Он поёт:

Моя вселенная не здесь,
а в сердце, сокровенно где-то,
далёко от земного света . . .

(Разве он забыл о ключах: «где двое или трое во имя . . . там и Я с вами»?) Он верит и знает, что: «есть только запретный свет».

Это мистическое утверждение «только», — раскалывает единый мир на два разных и снова оставляет нас без ключей к ним. Но всё же как-то тепло звучит у него «вечность», она у него **родимая**, как мать, с которою он **слит**. **Родимая вечность** — это драгоценное достижение.



Цикл стихов, **С Л О В А**, Сергея Маковского — прекрасный образ чувств и мышления современного человека, низвергнутого с высот **Царства** и восходящего вновь к **Духу**. Радостно переживать с поэтом эти слова. Быть может они не всегда одинаково четко горят на горизонте бессловесности, но такова судьба всяких **слов** — их надо снова и снова вбирать в себя и петь, пока наша душа не соприкоснется и не пройдет сквозь таинственную оболочку звука в самую сердцевину образа. Некоторые же стихи, вроде «не покоряйтесь искушению» — просто очевидно прекрасны и исключительны: многие запишут их в записную книжку своего сердца.



В той же книге есть цикл стихов «Юг» — цепь песен о природе южной Франции. Поэт радуется миру, все же зная, что «быстротечно время и ничто не вечно», но в заключение обещает себе:

До конца вверяться буду
воскрешающему чуду
каждого земного мига.

В этих словах целое конструктивное мировоззрение. И казалось бы можно тут и опустить занавес, но поэт не побоялся и груст-

ных состояний, и ученых умозаключений, и мудрых наблюдений.
И вот его приговор:

Обманет всё. И цели нет —
без жалости измены рока.
Любовь — единственный ответ,
не на земле, а там, далёко.

Испепеляют жизнь года,
и друг предаст и враг забудет.
Любовь, как небо, навсегда:
всё минется — любовь пребудет.

Пусть этот мир вокруг тебя,
пожалуй, и не существует . . .
Но вечность выстрадай любя —
одна любовь ее дарует.

Вениамин Ленин

О сказках Н. Кодрянской

В наш несказочный век сказки — редкий подарок людям. Подарок всегда особенно ценен, если получаешь то, чего нет и даже не знаешь у кого попросить. Со сказкой, как с мечтой, в наши дни расправились жестоко, заполнив сознание даже детей тем, что происходит в действительности и что всем видно одинаково, забыв о том, что может происходить у каждого в воображении по-своему.

И вдруг, этой осенью в Париже вышла книга Натальи Кодрянской СКАЗКИ. Книга и выглядит именно как подарок: нарядная, напечатано широко, бумага роскошная, та, которую не перелистываешь, а открываешь страницы, как в альбоме. На альбом она похожа и тем, что иллюстрирована рукой настоящей художницы — Н. Гончаровой, чтобы читать и видеть сразу. Значит два таланта сказывают сказки, как бы в два голоса. Запевала — Кодрянская. Гончарова вторит своими графическими образами.

На белой обложке лесная чаша. Здесь и листва, и хвоя, и трава, и ажур папоротника, и цвет дикого горошка — резьба и вышивка на просвечивающей между стволами таинственной, лесной глубине. На свитых из клена качелях — чаровница Ульнара, та, что «никем не судима, а судит и решает ссоры леса» говорит Кодрянская. У нее золотые змейки-косы и легкие, берестовые ноги, просвечивают сквозь облачное платье, развеянное качаньем. Качели толкает лапой волк. Но убаюканная Ульнара видит не волка, а лесного царевича Урмана. Он такой же невесомый, как она, так же облачно его виденье. На нем развеянный, свет-струящий плащ... Читатель сразу попадает в мир не того, что люди видят, а о чем грезят. Предисловие написано Ремизовым — этим глашатаем всего чудесного и чудного, что проросло в его реальности причудливыми побегами. Для Ремизова «сказка — воздух: небылью жив человек. Сказка — дыхание и крылья. В сказке забытье и пробуждение. Сказки и сон ходят вместе». Слова эти — вежи, по которым читатель найдет дорогу в мир Кодрянской. Ремизов открыл

ее, признал за «свою», любовно назвал «Лесавкой» и благословил ее книгу: «В счастливый путь! От сердца говорю!» Пытаться пересказать Ремизова — тщетно. Его заветы звучат полно и убедительно только в его собственных словах. В слове он виртуоз, недаром сказал: «Люблю сказку, а слову отдал жизнь». Предисловие Ремизова само по себе художественное произведение.

Сказочность Кодрянской располагается в здешнем и в нездешнем. Ее трогательная любовь к миру побуждает ее разглядывать окружающее тепло и внимательно. Идет ли речь о «Мышке Золотом Усице», о «Зайке Кусайке» ли о Ежике, или «Кротике Глаше», «Лисичке Катюше», или о «Михайло Иваныче», все они делаются близкими человеку. Читатель не чувствует, что увлечен в другой мир. Скорее, они его гости, и он вовсе не замечает, что разговор у них ведется на темы звериные, а не человеческие; так близко подводит их Кодрянская к читателю. Читатель видит их ласковым понимающим взглядом, ее слышит в ее любовном слове. Ведь и детский мир отличен от мира взрослого, однако взрослые приспособляются к детскому взгляду и слуху и пониманию ребенка, если его любят.

Даже «Серый Камень» ведет свой рассказ у Кодрянской, и читателю мнится, что разговаривает с камнем он не впервые. Не странно слышать и «Короля Вермишей», или даже «Деревянную палку», сбежавшую из лавки на волю, ни даже разговарившихся «Письменных принадлежностей» писателя. Ведь колдовство сказочника и есть оживление всего, к чему он прикасается. Тут-то и родится «небыль», которой, по утверждению Ремизова, «жив человек».

И столь далекий мир как «Тень Луны», «Сотворение Вороньего Царства», «Белая Дубава», «Царевна Заморушка», или «Стальная птица», залетевшая в рай становятся доступными.

Разнообразие тем, образов и настроений у Кодрянской редкое. Одинаково удается наивное и мудрое, бытовое и волшеб-

бное, эпическое и лирическое. Все это нередко переплетается, но не пестрит. Художественную меру автор знает. Каждая сказка отливает своим тоном.

Теснота и суэта современной жизни как бы спрессовали сознание человека, расплющили его мироощущение. В сказках сознание растворяется. В сказке всегда просторно и вольготно. Дума залетает далеко, образы приходят неожиданно. Однако не у каждого есть талант справиться с этими залетными мыслями. Кодрянская одарена таким талантом и мастерством меткого, внятного слова. Ее сказки не вариации на много раз пересказанные темы, ставшие традиционными. Они свежие, ею найденные, своеобразно и неожиданно сложившиеся.

Трудно выбрать, из чуть ли не шестидесяти сказок, какие отметить, имея что сказать почти о каждой.

Глубокая вдумчивость поражает в сказке «Белый ворон», что правил в вороньем государстве. «Раз в год в просторном зале под синим дубом устраивал маскарад. В этот день король разрешал всем своим подданным зверям, зверюшкам и птицам, становиться таким кто как хочет. Сам король превращался из ворона в человека... Король устраивал маскарад не только для развлечения, он надеялся, что его подданные, наряжаясь в свою мечту, станут лучше и счастливее». Так рассказывает Кодрянская. Злая жена его ворониха, волшебным лебяжьим пером коснулась короля и обратила его в заправдашного человека. Ему пришлось уйти к людям. Там он научился жалости. По Кодрянской: «жалость — дар человека. Жалеть, это и значит быть человеком... и еще и это дано только человеку: ложь». Здесь она уже - философ.

В «Голубой лошадке» — тоже глубокие думы об игрушечной зеленой собачке, несчастья которой пошли от того, что была зеленая, — не такая как полагается. Ее встреча с голубой лошадкой (тоже игрушкой) вполне счастливой, хотя и необычной, открыла, что веселость и доброта — «легкая дорога души к душе». Зеленая собачка добилась счастья. Заключительные слова сказки: «А голубая лошадка? Да такой никогда не было.

Это я выдумала, чтобы зеленого песика сделать счастливым» открывают читателю простор и забавы сказочника.

Художественный талант и литературное мастерство Кодрянской, пожалуй, ярче всего проявились в волнующем рассказе «Деревянной палки», убежавшей из лавки на волю. Прекрасно рассказанные ее приключения и блуждания ведут к стихийному возврату сухой палки в жизнь. Она попала в лес и тут «поняла какой жалкой калекой была . . . У меня не было ни головы, ни ног, ни рук. Мне стало стыдно и страшно моего безобразия, я решила бежать из этого мира, где мне, уроду, не было места. Внезапно я почувствовала, что я не могу больше двигаться. Мурашки забегали по моему туловищу, я начала испытывать нестерпимую муку. Мне казалось, что мое тело разрывается надвое: одна половина стремилась ввысь, к самому небу, а другая, пробиваясь сквозь толстый покров слежавшихся листьев, с силой углублялась в землю, и там вытягивалась, искривляясь все новыми ростками, которые между собой сплетались, расходились во все стороны, опять сходились, и лезли, настойчиво лезли все глубже и глубже, пока не добрались к набухшим, твердым сосцам матери-земли и жадно к ним прильнули . . . Каждый нарост, каждый сучок на моем теле набухал, наполнялся жизнью; и от избытка ее, материнский сок густым янтарем вытекал из всех царапин и трещин на моем теле.

Вдруг я почувствовала резкий толчок изнутри, и меня потрясло всю до корней. Я ощутила страшную боль в плече, словно меня кто-то пронизывал чем-то острым и тонким насквозь. Обезумев от боли и счастья, я увидела, как из меня лезет маленькая палка, еще жалкая тощая, но живая, и совсем, совсем такая же, как я . . . Пот катился с меня росинками, покрывая испариной все мое тело, и я вдруг начала дышать». Здесь не только палка, но и слова проросли и живут.

Сказка Жизни самая близкая сказка человеку. Не для избранных и особо одаренных она, а для всех. И сколько бы раз ни читать ее, она всегда нова волнующа, всегда — чудо.

Александра Мазурова

«Из Кладовой Писателя»

Эта книга Владимира Крымова, недавно изданная в Париже, производит странное впечатление. Вначале ее читаешь, как газету, легко, не задерживая внимания на страницах. А потом втягиваешься и уже не хочется отрываться. И так все время, без напряжения, без утомления.

Сам автор в предисловии пишет, что это «книга пряная, противоречивая, искренняя, бессистемная». И как ни странно, в этом большая ее притягательность для читателя. Ее можно читать от начала до конца, можно читать и в обратном порядке, можно и из середины, или просто раскрыть в любом месте. Это вроде Круга Чтения Льва Толстого, только без всяких претензий. Тут и о встречах с великими людьми, и о цветах, и о животных. А все вместе — разнообразная жизнь современного человека, с его увлечениями (суетными подчас), с моментами познания подлинной правды, болезнями, лечениями. Не мало в книге афоризмов и парадоксов. «Недалеко время, — пишет Вл. Крымов, — когда при некоторых «нервных» болезнях врачи будут прописывать не новейшие микстуры или таблетки, а подходящие случаю книги. Подходящая случаю книга может оказать громадное влияние . . . с этим придет исцеление . . . Для лечения книгами врачам придется самим знать и читать больше книг».

Но тут приходит соблазнительный вопрос: где их найдешь — этих врачей и эти книги?

Крымов большой оптимист и это приятно при чтении, часто улыбаешься. Автор дает огромное количество заметок на различные темы и современная газета может без конца пользоваться ими, что и делается — насколько я видел сам. К сожалению, русская пресса сейчас переживает упадок и у нее слабый контакт с книгой и ее творцом-писателем. «Талантливый роман, — пишет Крымов, — не менее важен, чем серьезная на-

учная книга». Читатели и писатели так именно и думают, в особенности так думают писатели о своих произведениях. Можно ли их в этом упрекать? Однако, Крымов подсмеивается над этой чертой писателя. Но если и писатель будет безразличен к своему творчеству, чего же ждать от читателя? Легкий цинизм тоже одна из черточек этой книги. Но цинизм — знамение нашего века.

Книга Вл. Крымова: «Из кладовой писателя» не разочарует.

В. Менделеев

От редакции

Редакция не может не сожалеть о допущенных опечатках в статье Леонида Галича: «Как и каким я увидел Бориса Григорьевича Пантелеймонова» (Дело, номер 3), за которые приносит извинения автору, но радуется, что благодаря одной из них читатель получает живой портрет А. В. Руманова — известного литературного деятеля, игравшего ответственную роль в сытинском «Русском Слове» в течение 15 лет, пользовавшегося большим влиянием в писательской среде.

ПОПРАВКИ И ОТСТУПЛЕНИЕ

(Из письма в редакцию)

. . . Начну с самой для меня неприятной. В одном из цитированных писем Б. Г. Пантелеймонова ко мне напечатано (см. стр. 26, 9-ая строка сверху):

«Страшно, что Вы с Румановым на ты».

Разумеется нужно читать:

«**Странно**, что Вы с Румановым на ты».

Борис Григорьевич этому удивлялся, потому что считал, что очень разными путями шли мы в жизни с талантливейшим и оригинальнейшим Аркадием Вениаминовичем Румановым. Не знал Б. Г. Пантелеймонов, что мы были близки еще со студенческих времен. Никогда не забуду: прихожу раз к писательнице Зое Юлиановне Яковлевой в ее явно сбивавшуюся уже на богемный стиль квартиру на Чернышевском переулке, иду через зал в столовую, где многообещающе звенят стаканы, и вижу — раскрыт в зале ломберный стол и сидят за ним петербургский градоначальник ген. Грессер, знаменитая певица Мариинского театра Валентина Ивановна Куза, муж ее композитор Блейхман и небольшого роста кругленький студент с круглым лицом, круглым носом и круглыми глазами, — очень при этом привлекательный. Это и был Аркадий Вениаминович Руманов, который тогда упорно кончал и никак не мог кончить университет. Нео-

бычайно умные были глаза у засидевшегося в университете студента, хотя и круглые. Одна, в ту пору начинающая, а в последствии чрезвычайно успешная писательница, которую Господь одарил, сверх ее многих других талантов, еще и искусством карикатуристки, так рисовала Руманова: в большом круге три кружочка поменьше, два сверху в поперечную строчку, третий посредине, пониже. Выходило уморительно и похоже. Нельзя было ошибиться: Руманов. И называла она Аркадия Вениаминовича, с которым тогда очень дружила, — «котеныш». Иногда поясняла: «Котеныш — сын котенка». «Котеныш» тогда писал книгу «Революционная Эстетика», и литературное издательство «Содружество» созданное С. К. Маковским, О. И. Дымовым, Леонидом Семеновым, тем же Котенышем и мною, собиралось издать и достойно прорекламирровать ее. Руманов писал отлично, но лениво. Как случалось у нас с очень многими, идеи свои пригоршнями разбрасывал в разговорах. А впрочем, может быть, это была система и делалось с заранее обдуманном намерением. Разговоры могли довести очень, очень небогатого молодого человека до очень больших высот; и кончилось тем, что довели. Когда началась в России революция, Руманов был уже настоящим, подлинным миллионером. У него была очень соблазнительная коллекция картин и еще гораздо более соблазнительная коллекция бриллиантов. Все это он себе с колдовским мастерством наговорил. Умея неподражаемо разговаривать и с И. Д. Сытиным, и с А. И. Путиловым, и с гр. С. Ю. Витте. Вот Б. Г. Пантелеймонову и казалось странным, что я был с Румановым на ты. Очень просто: он и со мной, денег не имеющим и ни в какие салоны и сферы не вхожим, умел так же хорошо разговаривать как с Сытиным, Путиловым, Витте и даже бывшим наследником престола великим князем Михаилом Александровичем. Тот даже помог Аркадию Вениаминовичу окончить наконец университет. Когда Руманов потерял уже всякие законные права на держание государственных экзаменов, великий князь, брат государя, лично попросил попечителя учебного округа сделать для его, Михаила Александровича, прия-

теля, милостивое исключение. Говорят, что профессора экзаменовали Аркадия Вениаминовича не очень усердно и он кончил выбранный им университет — кажется впрочем с дипломом второй степени: изучать гражданское право и судопроизводство он все таки не удостоил. Скучная материя. Кажется профессора юридических наук были единственные люди в мире, с которыми неотразимый Аркадий Вениаминович не умел разговаривать, особенно на экзаменах. Эх, дернула его нелегкая пойти на юридический факультет, а не на филологический — по литературному, конечно, отделению. Впрочем все хорошо что хорошо кончается, а кончилось настоящим миллионом и дружбой со всеми властителями судеб и умов.

Борис Григорьевич, как и я, очень любил и очень ценил Руманова. Он был художник и понимал истинную оригинальность. К тому же и Борис Григорьевич жадно любил жизнь, и Руманов жадно любил жизнь. Было у них о чем поговорить. И вот они тоже стали на ты, и я в этом не нахожу ничего странного, хотя Пантелеймонов родился в селе Муромцеве на Таре, а Руманов в Гатчине. Там, в парке, и встретился, будучи еще совсем молоденьким гимназистом, с вел. кн. Михаилом Александровичем, тогда наследником престола. И вот спелись эти два молодых человека, — сговорились. Я знаю, и Аркадий Вениаминович конечно не откажется это подтвердить, что несмотря на часто и упорно делаемые ему его высокопоставленным приятелем авансы, он только в одном случае воспользовался его протекцией, это чтобы разрешили ему держать ускользавший от него государственный экзамен. Ах, сложна человеческая душа, а уж особенно душа выдающегося человека.

Нет, нет, не было ничего странного в том, что мы были с Румановым на ты. Правильно писал мне названный племянник Борюшка, что это у нас с ним семейное. Оба мы быстро и хорошо поняли, что дюжинами Румановы по улицам не ходят. Они редкие, редчайшие исключения.

Вот и надо исправить опечатку.

Вот список остальных необходимых поправок:

На стр. 24 (5-ая строка снизу) надо читать: «Раззадорили вы меня вопросом о **двойственности** (а не «вопросом о действительности», как напечатано).

На стр. 25 (4-ая строка сверху) надо читать: «**между ними** отношение» вместо «между нами отношение». (8-ая строка сверху) следует читать: «**понимает** это», вместо «напоминает это». (15-ая строка сверху) надо читать: «из **порочного** круга зла» вместо «из почетного круга зла». Эпитет «почетный» не подходит даже и к козачьему кругу, хотя бы и самому почетному.

На 26-ой стр. (8-9 стр. снизу) надо читать: «потому что там не было гнева и намеренной жестокости», вместо «намеренной ескости».

И, наконец, на стр. 32-ой (10 строка снизу) совсем страшная для писателя опечатка, страшная тем, что читатель никак не может догадаться что просто искажено слово и думает, что автор плохо пишет. Надо читать: «С великолепной скупостью **изобразительных** средств» вместо «с великолепной скупостью изобретательных средств». Уж на изобретательные-то средства скупиться не полагается.

Леонид Галич

Содержание:

Наталья Кодрянская Сказочник	1
Алексей Ремизов Оракул	8
Дворецкий	18
Александра Мазурова Разговоры с Ремизовым и о нем	28
В. И. Зверев Белый Сокол	37
Родион Березов Доморощенный	57
Вл. Крымов Встречи с Г. Д. Уэллсом	66
СТИХИ — Л. Алексеева, И. Аносов, О. Анстей, Д. Кленовский, Е. Таубер, Т. Тимашева, Э. Шошин	72
Мишель Бонни	81
О. Можайская Испанские «COPLAS»	84
Вениамин Левин О жизни в нас	91
Александра Мазурова О сказках Кодрянской	100
В. Менделеев «Из Кладовой Писателя»	104
Леонид Галич Поправки и отступление	106

От редакции: Первая часть «Оракула» Алексея Ремизова была напечатана во втором номере «ДЕЛА».

«Сказочник» Н. Кодрянской, печатается с любезного разрешения автора и редактора Н. Р. С.

“DELO”

1520 Divisadero Street San Francisco 15, Calif.



Подписная плата —

**на год (12 номеров) 7 долларов,
на полгода (6 номеров) 4 доллара.
Цена отдельного номера 75 центов.**

DELO — MONTHLY LITERARY REVIEW
1520 Divisadero Street San Francisco 15, Calif.
Phone JOrdan 7-3797